

17987

V. P. im. L.

# КРУГЛЫЙ ГОДЪ

СОЧИНЕНІЕ

М. Е. САЛТЫКОВА (Щедрина)

С. ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІА А. С. СТОРОЖА. ОРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 11—2

1880



КРУГЛЫЙ ГОДЪ

200

КРУГЛЫЙ ГОДЪ





1000004388

992



2853336

166419



178822-11

# КРУГЛЫЙ ГОДЪ

СОЧИНЕНИЕ

М. Е. САЛТЫКОВА (Щедрина)



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІА А. С. СУВОРИНА. ЗРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 11--2

1880



882-3



BE H. KARPIŃSKA (LUBICZKOWSKI)



WYDZIAŁ

WYDZIAŁ

1939

## ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ.

Въ новый годъ, разумѣется, пришелъ ко мнѣ племянникъ. Молодой человѣкъ лѣтъ двадцати четырехъ, но преспособный. У меня только въ новый годъ, да на Пасху и бываетъ.

— Съ новымъ годомъ, дяденька.

— Съ новымъ счастьемъ тебя. Вареньца не приказали подать?

— Помилуйте, дядя, я въ это время водку пью (былъ третій часъ въ исходѣ).

— Водку? а ежели маменька узнаетъ?

— Она ужъ пять лѣтъ это знаетъ.

— Ну, водки такъ водки. А ежели водку пьешь, такъ, стало быть, и куришь. Вотъ тебѣ сигара. Рассказывай, что хорошаго? съ визитами кончилъ?

— Съ нужными—да; еще два-три не особенно важныхъ осталось—тѣ передъ обѣдомъ додѣлать успѣю. А что жъ вы, mon oncle, не поздравляете меня?

— Не знаю съ чѣмъ, оттого и не поздравляю.

— Conseiller de collègue—сегодня и въ приказахъ ужъ есть.

— Вотъ какъ это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой другъ! Маменьку-то увѣдомилъ-ли?

— Сегодня въ девять часовъ утра въ Ниццу телеграфироваль, и сейчасъ заѣзжалъ домой—ужь отвѣтъ полученъ. Вотъ и телеграмма.

Онъ подаль листокъ, на которомъ я прочиталь:

„Petersb. Znamenskaia, 11.

„Néougodoff.

„Suis toute fière bénis conseiller collègue Vendez Russie  
vendez vite argent envoyez Suis à sec

„Nathalie“.

— Однако, какъ же это: „Vendez Russie, vendez vite“ и „argent envoyez“—что это значить? Неужто ужь такъ деньги зандобились? въ недоумѣнїи остановился я.

— Очень просто: есть у насъ пустошь Рускина—вотъ ее и надлежитъ продать. А на телеграфѣ переверали: Russie.

— Гм... какая, однакожь, можно сказать, провиденціальная ошибка! Такъ вы Рускину-то продаете?

— Мы, дяденька, ужь третью пустошь продаемъ съ тѣхъ поръ, какъ шатап въ Ниццу уѣхала. Она пишетъ, что пустоши—лишнее, только фигуру имѣнїя портятъ.

— То есть, какъ тебѣ сказать?.. Конечно, пустоши—это въ родѣ бородавки... Бываютъ, однако, и бородавки... А, впрочемъ, и то сказать: много денегъ въ Ниццѣ надо, особливо, ежели кто въ Монте-Карло ѣздить! Только какъ бы, послѣ Рускиной-то, и до Монрепо Nathalie не добра-лась!

— Никогда не допущу! Тамъ прахъ моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

— То-то, ужь попридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой довольна? „Suis toute fière“—вотъ они материнскїя-то чувства! Цѣни ихъ, другъ мой! Vendez Russie, vendez, vite... фу! Да впрочемъ, какая бы мать и не загордилась на мѣстѣ Nathalie: въ твои лѣта—и ужь почти фельд-маршалъ!

— Ну, до фельдмаршаловъ-то далеко!

— Нѣтъ, не очень. Посчитай-ка. Черезъ годъ, положимъ, статскій совѣтникъ...

— Черезъ годъ... impossible, mon oncle!

Өединька скромничаль, но я очень хорошо видѣль, что внутренно онъ вполне одобряетъ мои предположенія, и потому продолжалъ:

— Черезъ два года—дѣйствительный, потомъ тайный, потомъ трещина вдоль черена... фу! что это, однакожь, какой я вздоръ говорю! Нѣтъ, право, совсѣмъ не такъ далеко, какъ кажется съ перваго взгляда! Ну, да будущее въ руцѣ Божіей... Теперь то ты какъ? доволенъ?

— Еще бы! самъ генераль, давича, на общемъ представленіи объявилъ. Подошелъ, поздравилъ и сказалъ: если и на будущее время будете такъ продолжать, то...

Өединька остановился.

— Ну?

— И только—что жъ больше! затѣмъ перешелъ къ слѣдующему—и ему тоже...

— Ну, вотъ видишь! Стало бытъ, статскій-то совѣтникъ ужъ и теперь подразумѣвается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменькѣ утѣшеніе, да и я, дядя-старикъ, на тебя гляючи, порадоюсь!

И, какъ истинный старикъ, я не утерпѣлъ и воскликнулъ:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели тебя воспринималъ!

— Ровно двадцать четыре года тому назадъ.

— Какъ время-то бѣжить! Словно вотъ сейчасъ слышу голосъ Nathalie изъ-за двери: ради Бога, Michel, не урони его! ты такой неловкій!

— Не уронили, однако?

— Богъ спасъ! а знаешь ли, впрочемъ, что! вѣдь иногда вашего брата изъ нынѣшнихъ, право, не дурно

было бы въ младенческихъ лѣтахъ съ умѣренной высоты уронить!

— Это за что?

— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите—сколько вы народу передадите! Ну, да, что говорить объ этомъ! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнял его съ кресла за руки, поставилъ передъ собой и повернулъ кругомъ.

— Безъ отмигиванья! Ноги крѣпкія, безъ подсѣдовъ, грудь широкая, крупъ, какъ печь, и при этомъ—селезенка играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, видѣть равнодушно не могутъ! Особливо, какъ теперь узнаютъ, что такой милушка—и почти фельдмаршалъ! Вѣдь ты, разумѣется, и въ благотворительныхъ обществахъ служишь?

— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществахъ секретаремъ, въ трехъ—членомъ соревнователемъ.

— Знаешь, значить, гдѣ раки зимуютъ?

— Не безъ того. Да вѣдь и вы, дядя, я полагаю, въ свое время по части „дамочекъ“ спуска не давали?

— Гдѣ намъ, другъ мой! Въ наше время вѣдь и „дамочекъ“ то не было. Бывали, да все Юноны; сидитъ она, бывало, въ оперѣ, въ бель-этажѣ, словно царевна въ окладѣ да пастыльки жуётъ—ну, и любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькія, юрконькія... интересны онѣ?

— Масло!

— Ну, и слава Богу. Только вотъ говорятъ онѣ много... все говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время не было. Вообще, въ наше время для тѣхъ, кто не состоялъ по кавалеріи или не обладалъ громкимъ титуломъ, плохо по женской части было. Только два ресурса и существовало: Кессенихъ да Марцынкевичъ. Тамъ, дѣйствительно, встрѣчались „дамочки“, но тѣ не разговаривали. Оно, съ одной стороны, конечно, недостатокъ словесности... но съ другой стороны... Ну, дай тебѣ Богъ! дай Богъ!

Я обнял его и поцѣловаль. Но потомъ опять не выдержалъ и удивился.

— Да вѣдь ты едва школьную скамью оставилъ! Ахъ!

— Пять лѣтъ ужь, дяденька.

— Неужто ужь пять лѣтъ?

— Даже немного больше. Нѣтъ, вы вотъ кому подивитесь—Самогитскому! Всего на одинъ курсъ старше меня, а на дняхъ ужь въ Погорѣловъ посланъ!

— Вотъ, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

— У него, шоп осле, нѣтъ настоящей маменьки. То есть, коли хотите, она есть, но... vous savez? Онъ сирота, но сирота, такъ сказать... государственный!

— Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и въ мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только-что мѣстечко для себя облюбуешь—и вдругъ тебѣ на голову... „сирота“!

— Такъ и вы, значить, знакомы съ этими разочарованіями?

— Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы видѣлъ, и срамоты видѣлъ—все у меня на глазахъ прошло! Ты спроси, чего я только не видалъ!

— Да, говорятъ, интересные у васъ воспоминанія есть.

— Есть-таки. Бывали интересныя вещи и въ наше время, но, полагаю, что теперь ихъ вдвое больше, и еслибъ ты, напримѣръ, наблюдалъ, то, навѣрное, всякаго изъ насъ, стариковъ, за поясъ бы заткнулъ.

— Почему же вы такъ думаете?

— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то ровнѣе шла, стало быть, и интереснаго въ ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положимъ, служили тѣ же самыя неподвижность и неприкрытость, что и теперь, но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднѣе. Они понимали, что извѣстныя жизненныя условія для нихъ выгодны, и пользовались ими

какъ могли; но они не дразнились, не утверждали во всеуслышаніе, что это тѣ самыя условія, лучше которыхъ нѣтъ и не будетъ. Они знали, что такого тезиса нельзя приличнымъ образомъ поддержать и что болтливость и хвастовство могутъ только компрометировать, но никакъ не защитить. Поэтому, въ наше время была строгость, но не было ненависти; бывали дѣйствія суровыя, неумолимыя, но не было вывертовъ, презрѣнія и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ наше время, но хоть тѣмъ хорошо, что „патореску“ подлаго не такъ много было. Живешь-живешь, бывало, „въ объятяхъ сладкой тишины“—и ничего-то бьющаго въ глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдругъ появится, который одинъ цѣлую армию полицейскихъ разобьетъ, или такой ужъ мерзавецъ, что даже прочіе мерзавцы—и тѣ удивляются, какъ его земля носить. Ну, разумеется, интересно: возьмешь и запишешь.

— Такъ, значить, по вашему, нынче интересныхъ вещей больше?

— Больше, мой другъ.

— Представьте, я этого никогда не замѣчалъ!

— И не замѣтишь, потому что ты самъ среди этой суматохи живешь. А вотъ, если, по обстоятельствамъ, придется тебѣ отъ фельдмаршальства-то отказаться да къ сторонкѣ отойти—вотъ тогда всѣ эти интересности сами собой и всплывутъ. Будетъ объ чемъ и дѣтямъ, и внукамъ поразказать.

— Не знаю. Это для меня совсѣмъ ново. Во всякомъ случаѣ, я думалъ и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, какъ теперь, и что въ этомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, шагъ впередъ, сдѣланный нами...

— Свободно то, даже очень свободно—помилуй, развѣ я не знаю! Но непредвидѣнность... ахъ, эта непредвидѣн-



ность! Представь себѣ, вотъ я старь-старь, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь беретъ. Ходишь иногда одинъ и думаешь:—вольно мнѣ теперь, на что вольнѣе! Что хочю, то дѣлаю! И въ десятую долю никогда такъ свободно не дышала моя грудь, какъ дышитъ нынче! И вдругъ, какая-то нецрїятная дрожь. А что—дескать, коли, по обстоятельствомъ, придется вверху ногами ходить?

— Но вѣдь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

— Понимаю-то, понимаю, а все-таки...

— Все таки боитесь... пустяковъ!

— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Биронѣ не было — вотъ, братъ, какъ я давно живу! — а нынче, какъ спать ложиться иду, непременно обѣ двери и на парадную лѣстницу и на черную осмотрю: крѣпко ли заперты? И ночью не разъ встанешь — послушаешь.

— Что-жъ привидѣній вы что ли боитесь?

— Нѣтъ не привидѣній, а вообще... „Интереснаго“ боюсь. Думаешь иногда: что ужъ во мнѣ! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать — а все-таки боишься!

— Ну, нѣтъ, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, слыхали-таки!

Өединька сказалъ это, очевидно, шутя, однакожъ, я все-таки обезпокоился.

— Вотъ видишь, и ты слышалъ—а я ничего не знаю. Почти ни съ кѣмъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ такими же калѣками, какъ я самъ; даже водку совсѣмъ пересталъ пить, а все-таки чувства опасенія не утратилъ!

— А я и вижусь со всѣми, и вино и водку пью—и ничего не боюсь.

— Во-первыхъ, ты кандидатъ въ фельдмаршалы — не

тебѣ, а тебя бояться приличествуетъ. Во-вторыхъ, ты безстрашный. Вы всѣ, нынѣшніе, безстрашные. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ чувства отвѣтственности, а мы, старики, были снабжены имъ въ издѣшество.

— Но какое же тутъ чувство отвѣтственности, коли вы даже водки не пьете?

— Все-таки. Вспомни, что я вскормленъ непредвидѣнностью и, слѣдовательно, ни на минуту не имѣю права позабыть объ ней. Придетъ она, спроситъ—я долженъ виниться! Въ чемъ виниться—я, положимъ, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязанъ.

— Однако, напуганы таки вы!

— Не напуганъ, а съ молодую привыкъ понимать, что въ семь мѣстѣ не пахнетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту обонянія я и называю чувствомъ отвѣтственности. Безъ хвастовства, и не въ укоръ тебѣ, но я все таки долженъ сказать: мы, старики, умнѣ васъ держали себя.

— Ого!

— Да, умнѣ—право, это такъ. Не всѣ срамоты наружу вываливали, а кой что и для внутреннихъ апартаментовъ приберегали. И не стыдъ руководилъ нами въ этомъ случаѣ, а именно чувство отвѣтственности, опасеніе компрометировать и себя, и присныхъ своихъ. Ужь это развѣ оглашенные какіе хвастались: я — молъ такого-то объегорилъ, а такого-то и совсѣмъ по міру пустилъ, мудрый же, бывало, сядетъ по тихоньку въ уголокъ, да и прикладываетъ рубликъ къ рублику. А на старости лѣтъ, глядишь, онъ либо въ мasonry поступилъ, либо псалмы въ стихи перекладываетъ. Такъ-то, мой другъ. И гадость свою выполнилъ, да и окрестностей воню не отравилъ—вотъ наша мудрость была какова!

— Къ счастью, что въ наше время ни „оглашенныхъ“, ни „мудрыхъ“—одинаково нѣтъ.

— „Мудрыхъ“ нѣтъ—это правда; но „оглашенныхъ“—

хоть прудъ пруди. И притомъ, живущихъ со дня на день, непредусмотрительныхъ, безъ надобности тщеславныхъ и безъ надобности же пресмыкающихся, не понимающихъ, что всякій поступокъ долженъ имѣть свою причину и свой результатъ...

— Дядя! вѣдь это, наконецъ, обидно!

— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая бесѣда объ этомъ раздражаетъ. Но представь себѣ: есть вещи до такой степени неразрывныя съ человѣческимъ существованіемъ, что какъ ни отмахивайся отъ нихъ, онѣ такъ и наступаютъ такъ и наступаютъ на тебя. Вотъ я совсѣмъ ужъ, кажется, отгородился отъ жизни, да, къ несчастью, къ газетамъ привычки не могу побороть. Получаю, братецъ, читаю. Иной разъ, прямо тебя по затылку ударить, а другой разъ хоть и ничего нѣтъ въ газетѣ — опять обида! Почему *ничего* нѣтъ? Не можетъ быть, чтобъ *ничего* не было! Обида, обида, обида! Можетъ быть, на дѣлѣ и нѣтъ этой обиды да внутри у тебя ихъ непроглядная масса сидитъ. Тревожатъ, дразнятъ, досаждаютъ. Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка ихъ въ тиши уединенія — вотъ и поймешь, почему иногда скучно на свѣтѣ жить.

— Вольно же вамъ!

— Обиды то глотать? Нѣтъ, иногда даже полезно привычаться къ этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придетъ. И ежели ты къ этому не привыкъ, а умѣешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперекъ горла встанетъ, задушитъ. А меня не задушитъ, потому что я привыкъ. Впрочемъ, будетъ объ этомъ, обратимся лучше къ тебѣ. Ну, фельдмаршалъ, сказывай: планы у тебя въ головкѣ, чай, такъ кишмя и кипятъ?

— Какіе же планы, mon oncle? и что можетъ мнѣ предстоять?

— Нѣтъ, тебѣ предстоитъ... я это чувствую, что тебѣ „предстоитъ“! Можетъ быть, одинъ „сирота“ мимо про-

сочить, другой проскочить, а все-таки ты тамъ будешь, гдѣ тебѣ природой указано. Вотъ почему я тебѣ, какъ дядя и другъ, говорю: не зарывай въ землю своихъ талантовъ, но культивируй ихъ!

— Но вѣдь ежели вспомнить то, что вы сейчасъ говорили объ этихъ талантахъ, такъ, пожалуй, не культивировать, а именно зарыть ихъ скорѣе придется.

— Гм... пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случаѣ, зарой эти таланты и очисти мѣсто для другихъ. Надо тебѣ сказать, что талантъ самъ по себѣ безцвѣтенъ и приобретаетъ окраску только въ примѣненіи. Какого рода положительныя примѣненія ты можешь дать своимъ талантамъ—это, къ сожалѣнію, объяснить трудно. Но отъ какого рода примѣненій полезно было бы тебѣ воздержаться—это я, пожалуй, могу сказать.

Өдинька съ чуть замѣтной усмѣшкой взглянулъ на меня и процѣдилъ сквозь зубы:

— Напримѣръ?

— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя забавляетъ тебя. И знаю, что тебѣ нужно только „провести время“ съ старымъ дядей, въ ожиданіи тѣхъ визитовъ, которыхъ ты еще не успѣлъ додѣлать...

— Что за мысль, mon oncle!

— Ничего; позабавься—мнѣ и самому пріятно, ежели тебѣ весело. Начну съ воспоминаній прошлаго. Былъ во времена оны у насъ государственный человекъ—не изъ остзейскихъ, а изъ настоящихъ нѣмцевъ—человѣкъ замѣчательнаго ума и, сверхъ того, пользовавшійся репутаціей несомнѣннаго безкорыстія. Тѣмъ не менѣе, даже въ то время нигдѣ такъ не было распространено взяточничество, какъ въ томъ обширномъ вѣдомствѣ, которымъ онъ управлялъ. Такъ вотъ онъ, когда случалось ему отправлять кого-нибудь на мѣсто въ губернію, всегда слѣдующимъ образомъ напутствовалъ отъѣзжающаго: „удивляюсь, го-

ворилъ опъ, какъ вы, русскіе, такъ мало любите свое отечество! какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ же начинаете грабить! Воздержитесь, мой другъ! пожалѣйте свое отечество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ вашихъ товарищей!”

— Надѣюсь, однако, шоп онсіе, что ваша притча до меня не относится?

— Конечно, душа моя, въ буквальномъ смыслѣ она ни до тебя и даже ни до кого изъ „нынѣшнихъ“ карьеристовъ относиться не можетъ. Но транспортировать ее все-таки можно. Напримѣръ, сказать такъ: удивляюсь я, какъ вы, нынѣшніе, такъ мало любите свое отечество! какъ только почувствуете силу, такъ тотчасъ же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалѣйте свое отечество и не столь уже беззавѣтно поддавайтесь внушеніямъ бойкости, кои вамъ пользы ни на грошъ ни принесутъ, а на общій ходъ дѣлъ, между тѣмъ, могутъ оказать вліяніе несомнѣнно вредное!

Я остановился и взглянулъ на Фединьку: онъ очень внимательно чистилъ ножичкомъ ногти.

— Гм... а какъ вы полагаете, дядя, сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—вашъ ископаемый государственный человѣкъ... достигъ онъ своими наставленіями какихъ-нибудь результатовъ!

— О, разумѣется, нѣтъ! всеконечно нѣтъ! всеконечно, всеконечно, нѣтъ!

— Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?

Онъ сказалъ это такъ мило и при этомъ смотрѣлъ такъ ясно, улыбался такъ ласково, что я невольно взялъ его двумя перстами за подбородокъ, и минуты съ двѣ молча любовался имъ.

Затѣмъ, мы поцѣловались, вновь пожелали другъ другу счастливаго года и Фединька отправился додѣливать визиты.

## ПЕРВОЕ ФЕВРАЛЯ.

Хотя бесѣда между мною и Фединькой происходила въ шуточномъ тонѣ, но небрежность, съ которою онъ отнесся къ моимъ совѣтамъ, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъять нѣкоторыхъ опасеній. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, которые, ради карьеры, готовы отречься отъ отца и матери, которые, такъ сказать, едва вышедши изъ пеленокъ, уже потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ бы угрожая невидимому врагу: вотъ я тебя! Что вызываетъ эти угрозы? какое чувство руководить этими юношами, этими неоперившимися птенцами, въ то время, когда они направо и налево сверкаютъ зрачками глазъ? Ненавидятъ ли они свое отечество (вѣдь, собственно говоря, они ему-то и грозятъ), или просто на-просто не понимаютъ, что это за штука, которая называется отечествомъ?

Предположенія о ненависти я не допускаю. Во-первыхъ, это чувство слишкомъ тяжеловѣсное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ, можно ненавидѣть лишь то, что гнететъ, сковываетъ, отравляетъ существованіе, но какого же рода отравы можетъ испытывать, на примѣръ, Фединька? Помилуйте! онъ, не размышляючи, живетъ себѣ на всемъ на готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ,

въ настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...

Скорѣе всего, это люди неразвитые, выучивавшіе въ школь свои тощія тетрадки, не обращающія вниманія на ихъ смыслъ, и потому даже не понимающіе, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово „отечество“ не смущаетъ ихъ, потому что они не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о той безконечно-разнообразной массѣ интересовъ и отношеній, которыя оно собою захватываетъ. Они думаютъ, что это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ, въ парадныхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они знаютъ изъ христоматій: à tous les sœurs bien nées que la patrie est chère... И только.

Наиболѣе дальновидные изъ нихъ (тѣ, которые рассчитываютъ на солидныя карьеры, гдѣ упоминеніе объ отечествѣ придаетъ человѣку извѣстную серьезность) позволяютъ себѣ иногда щегольнуть этимъ словомъ даже запросто, между своими, но щегольство это, съ перваго же взгляда, поражаетъ свою внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидитъ, наприимѣръ, Фединька за тонкимъ обѣдомъ у Бореля, сквернословитъ на счетъ предстоящихъ ему карьеръ, и дабы дать собравшимся собутыльникамъ понятіе о своей солидности (онъ надняхъ ждетъ мѣста, гдѣ безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ, пи съ того ни съ сего, прерываетъ сквернословіе восклицаніемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré!

Всѣ на мгновеніе умолкаютъ; многіе завидуютъ: гм... должно быть, ему и въ самомъ дѣлѣ общано! Но именно только на мгновеніе, потому что среди этого минутнаго смятенія, вдругъ раздается голосъ какого-нибудь прибуднаго Жоржиньки:

— Rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrrre... .



И всѣ опять повеселѣли, словно отъ кошмара освободились. Самъ Ѳединька не въ силахъ дольше держаться на высотѣ своей серьезности, и ласково цѣдитъ сквозь зубы: шутъ! „Отечество“ исчезаетъ, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословіе вновь вступаетъ въ свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагороженной формѣ „la patrie“, слишкомъ громоздко для этихъ людей?

Да, это совсѣмъ не жестокій, а именно только легкій и до невмѣняемости неразвитый народъ!

Тѣмъ не менѣе, не понимая, что слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ „отечество“ и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы, въ то же время, отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оублады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаютъ ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ, и имъ, разумѣется, не чужда идея „отечества“, но какого отечества?—того, которое все стерпитъ, да, вдобавокъ, еще и денегъ дастъ. Сильные этимъ соображеніемъ и зная, что практика не особенно-таки противорѣчитъ ему, эти люди видятъ въ отечествѣ нѣчто фаталистически имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому, они относятся къ нему безъ церемоній, а иногда и съ тѣмъ капризнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ, при крѣпостномъ правѣ, нѣкоторые не совсѣмъ умные помѣщики относились къ мужику. Выжавши изъ него весь сокъ и замѣчая, что онъ ужъ не выдѣляетъ изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволеніе природы, положившей предѣлъ выдѣленію соковъ, даже мужицкихъ, но мужицкую интригу, фактъ злонамѣренной утайки принадлежащихъ имъ, помѣщи-



камь, даней. И, разумѣтся, сердились, сѣкли и ссылали въ Сибирь.

Отечество-пирогъ — вотъ идеаль, дальше котораго не идутъ эти незрѣлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году недѣлю вылѣзшіе изъ курточекъ, и объ томъ только думающіе, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрѣлица недостаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?

Въ послѣднее время, это одностороннее отношеніе къ задачамъ и формамъ подлежащей жизненной дѣятельности, съ сожалѣнію, еще болѣе обострилось. Въ массѣ людей „постороннихъ“, не провиденціальныхъ, уже начинаютъ выдѣляться личности, которыя слову „отечество“ придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо говорятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ того, тѣмъ же сознаниемъ серьезности проникается, въ значительной степени, и современная русская литература. По настоящему, этотъ фактъ долженъ былъ бы пробуждать довѣріе, а онъ, напротивъ того, бѣситъ. Бѣситъ, потому что провиденціальныя мальчики никакъ не могутъ понять, какъ это *вдругъ* пришло. Откуда взялось мнѣніе, что отечество — не пирогъ, а культъ, дающій очень мало правъ и налагающій очень много обязанностей? Кто это говорить? подумайте... КТО это говорить? Это говорятъ люди „посторонніе“, которымъ, по настоящему, *до этого и дѣла-то нѣтъ!* И кому они говорятъ это? — тѣмъ, которые и днемъ и ночью, и въ ресторанахъ и въ кафе-шантанахъ, всегда готовы продекламировать: *à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!* Очевидно, что это не просто, а *нарочно*; что тутъ есть какая-то пертурбація, подрывъ, потрясеніе! И вотъ, и провиденціальныя мальчики чувствуютъ себя оскорбленными и начинаютъ сердиться. Угрозы, имѣвшія дотолѣ отъѣнокъ простой (хотя и халдовой) неряшливости, приобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ ха-

рактерь болѣе и болѣе острый. Глаза горять, поздри раздуваются, изъ усть бьетъ цѣна... Это у мальчиковъ-то!

Какъ хотите, а это страшно. Цѣлыя массы провиденціальныхъ мальчиковъ каждагодно выбрасываются изъ всевозможныхъ заведеній на арену жизни... цѣлыя массы съ слюной на устахъ! И это—надежда, это—запасъ, изъ котораго будущему предстоитъ черпать! И каждый членъ этой массы безтрепетно грозитъ перстомъ: вотъ я васъ! Каждый мнить, что все, что ни охватить его жадный взглядъ—все это не что иное, какъ арена, уготованная для подвиговъ его молодечества, арена, на которой онъ можетъ дразниться, подтягивать, „учить“, утверждать въ вѣрѣ и т. д. Размыслите, сколько путаницъ, смуть и недоумѣній осуществляютъ въ своемъ лицѣ эти новаго рода сапѣры, для которыхъ... rien n'est sacré pour un sapeur?

И притомъ, не простые сапѣры, а осложненные предвидѣніемъ какихъ-то препятствій, сапѣры, убѣдившіеся, что пирогъ, осуществляемый отечествомъ нужно не просто ѣсть, а сколь можно ожесточеннѣе рвать зубами, потому что внутри его, вмѣсто начинки, засѣло скопище неблагонамѣренныхъ элементовъ, которые имѣютъ дерзость утверждать, что отечество есть культъ. Культъ!.. sapristi! à qui le dites vous?

Забудемъ, однако, о „постороннихъ“ людяхъ, допустимъ, что Россія, дѣйствительно—пирогъ, и только пирогъ. Ну, и ѣшьте его. Но ѣшьте втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ божьимъ даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ, ѣшьте, какъ при крѣпостномъ правѣ ѣдали умные ѣдоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обглаживать до костей. Поѣшьте и сдѣлайте роздыхъ, займитесь пищевареніемъ. Размыслите: чѣмъ спокойнѣе и расчетливѣе вы будете ѣсть, тѣмъ больше у васъ останется ѣды напередки, тѣмъ продолжительнѣе бу-

детъ ваше пиршество. При помощи сваровки, благоразумія и скромности, вы даже можете достигнуть совсѣмъ неожиданныхъ результатовъ: покончивши съ однимъ пирогомъ, вы получите на смѣну другой, третій и т. д. Ужели эта преспектива не достаточно соблазнительна, чтобы, ради нея, не разстаться съ безплодными угрозами?

Зачѣмъ похваляться какими-то прерогативами? зачѣмъ говорить, вотъ мы будемъ пирогъ ѣсть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь въ это время смотрѣть въ оба и не пикнуть? зачѣмъ угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствіе вамъ отъ того, что покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будутъ въ паническомъ молчаніи таращить на васъ глаза? Не пріятнѣе ли, не въ сто разъ веселѣе ли было бы для васъ самихъ, еслибъ эти же самые соотечественники, во время вашей трапезы, потрясали воздухъ кликами ликованія, предавались обычнымъ невиннымъ занятіямъ, суетились, ходили взадъ и впередъ, и даже... немножко шумѣли? Сообразите сами: вѣдь это ликованіе, этотъ шумъ — вѣдь это своего рода музыка; это движеніе, эта суета, этотъ вольный аллюръ — своего рода пріятнѣйшій *tableau de genre*. Не даромъ, помѣщики добрые (они же и умные), въ числѣ прочихъ удовольствій, пріятныхъ барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное изліяніе мужицкаго веселонравія. Даже скотина — и та въ стадѣ ѣсть веселѣе, нежели въ одиночку. А притомъ же, поймите еще и то, что безъ говору, безъ суеты ничего путнаго нельзя произвести. Вы съѣдите одинъ пирогъ, и вамъ же понадобится другой — какимъ образомъ состряпають его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могутъ, кромѣ какъ въ оцѣпенѣніи ожидать, съ которой стороны ихъ хлопнетъ: по затылку или въ лобъ?

Я знаю, вы убѣждены, что все это необходимо для того,

чтобы утвердить въ „постороннихъ людяхъ“ уваженіе къ авторитету. Но понимаете ли вы сами всю неносильность взятой вами на себя задачи? Во-первыхъ, вы, очевидно смѣшиваете уваженіе къ авторитету съ испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно желаніе, чтобы авторитетъ былъ окруженъ уваженіемъ, но насколько же можетъ содѣйствовать этому дурная привычка дразниться? Ахъ, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственныя лица, которыя, вслѣдствіе этого, дѣлаются не только не внушительными, но просто на просто смѣшными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно къ мелочамъ и упускаете изъ вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно большую массу горечи, нежели даже допуская прямая жестокости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ безконечно подло положеніе человѣка, который понимаетъ, что его можно безтрепетно дразнить! И какъ въ миллионъ кратъ еще подлѣе положеніе того человѣка, который, пользуясь этой подлостью, все-таки продолжаетъ дразниться. Размыслите же объ этомъ, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете „думанье“ источникомъ всякаго зла), но на этотъ разъ сдѣлайте надъ собою усиліе, подумайте! И я увѣренъ, что вы безъ труда убѣдитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиваніями, вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете ногами дорогой для васъ принципъ авторитета.

Не могу не рассказать по этому случаю одного происшествія, которому я самъ былъ когда-то свидѣтелемъ. Былъ у меня, во времена крѣпостного права, знакомый помѣщикъ, человѣкъ не жадный, не жестокой, но, на свое горе, идейный. Всякія идеи приходили ему въ голову въ часы

досуга, и между прочимъ идея объ утвержденіи помѣщичьяго авторитета въ родномъ селѣ Загибаловѣ. Съ чего онъ взялъ, что авторитетъ его недостаточно проченъ—этого я, за давнопрошедшемъ временемъ, не упомяну; помню только, что онъ непрерывно твердилъ: „надо, mon sieur, непременно надо это устроить! распущены они! чортъ знаетъ до чего распущены!“ И еще помню, что распущенность, какъ видно было изъ его словъ, преимущественно заключалась въ томъ, что мужики не особенно стѣснительно относились къ нему, когда онъ проходилъ по селу. А онъ таки любилъ пройтись гоголемъ по сельской улицѣ, а въ особенности любилъ, чтобы мужикъ издали увидѣлъ его и, издали-же снявъ шапку, привѣтствовалъ его приближеніе пояснымъ поклономъ.

— Понимаете! говорилъ онъ мнѣ:—не поклонъ ихъ мнѣ нуженъ, а нужно убѣжденіе, что они признаютъ свои обязанности относительно меня, что мой авторитетъ, en un mot... vous comprenez?

И вотъ, онъ принялся утверждать свой авторитетъ между загибаловскими мужиками или, сказать проще, началъ дразнить мужиковъ. Замѣтитъ мужика, который дѣломъ занятъ, и начнетъ около него гоголемъ похаживать. Пройдетъ разъ мимо; почуветъ мужикъ боярскій духъ, отвѣситъ поясной поклонъ—хорошо; не спохватится—сейчасъ краткое правоученіе съ иллюстраціями изъ избранныхъ сочиненій по части митирогнозіи. Черезъ минуту, только что мужикъ вновь углубился въ занятіе—хватъ, анъ помѣщикъ, опять тутъ какъ тутъ! Опять утвержденіе авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тѣхъ поръ такъ дѣйствовалъ, покуда облюбованный мужикъ не убѣждался, что нужно выкинуть изъ головы всякую заботу о дѣлѣ, и, вмѣсто того, стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли гдѣ-нибудь баринъ, чтобъ своевременно отвѣсить ему требуемый поклонъ.

Такимъ образомъ, онъ перепробовалъ всѣхъ мужиковъ своего имѣнія и, дѣйствительно, добился-таки, что всѣ они выпучили глаза. Много было тутъ и комическихъ сценъ, но, право, больше было трагедіи. Авторитетъ былъ посаженъ, но мужицкія хозяйства занустили, а вслѣдъ за тѣмъ, естественно, послѣдовала задержка и въ барскихъ оброкахъ. Однакожь, какъ человѣкъ идейный, мой знакомецъ и съ этимъ мирился, лишь бы цѣль его жизни была достигнута. Но вотъ пробилъ грозный часъ, часъ уплаты процентовъ опекунскому совѣту. Ни денегъ, ни цѣнностей не было—все обращено было въ авторитетъ. Разумѣется, село Загигалово было въ непродолжительномъ времени продано съ аукціоннаго торга.

Вы можете, о молодые карьеристы, вывести изъ этой критики такое поученіе, какое сами заблагоразсудите; я же, съ своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравненіе съ сейчасъ названнымъ помѣщикомъ не только не унижительно, но даже черезчуръ лестно для васъ. Знакомецъ мой былъ человѣкъ хотя и не умный, но идейный, и въ пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже пирогомъ. Вы же, оставаясь неумными, хотите, въ одно и то же время, и дразниться, и пирогъ за собой сохранить!.. Развѣ это естественно?

И замѣтите, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь въ жизнь съ твердымъ намѣреніемъ „дѣлать нарочно“. Вы вполне серьезно убѣждены, что воспрославиться можно, только поступая наперекоръ, *для нарочно*. Откуда пришло къ вамъ это убѣжденіе, кто внушилъ его въ васъ—этого я рѣшительно не понимаю. Не думаю, чтобъ это внушили вамъ почтеннѣйшіе ваши родители, не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ принципъ въ стѣнахъ „заведеній“, которыя охраняютъ вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтобъ вы могли слышаться объ немъ отъ татаръ Борелева ресто-

рана, гдѣ вы, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, исподволь приучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и Борелевскіе татары виноваты развѣ въ одномъ: что они черезчуръ ужъ любятъ васъ, черезчуръ желаютъ вамъ успѣховъ, однихъ успѣховъ! Они убѣждены зараньше, что вы явились въ мѣръ за тѣмъ единственно, чтобы преуспѣвать и дѣлать карьеры. Вы—провиденціальные мальчишки, и въ согласность этому и воспитанію вамъ даютъ провиденціальное же, то есть безъ участія наукъ, которыя, впоследствии, могли бы заставить васъ остановиться, задуматься, или вообще какъ нибудь огорчить. Отсюда, общая увѣренность, что вы „достигнете“ — непременно. Но средствъ, къ которымъ вы прибѣгнете, чтобъ воспрославиться, угадать нельзя, потому что они мѣняются сообразно съ условіями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете откуда и какимъ вѣтромъ дуетъ, вы видите примѣры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ, вы чутко слѣдите за ихъ быстрыми шагами на пути карьеры и молодечества и, согласно съ этими наблюденіями, совершенно точно опредѣляете, какая, въ данномъ случаѣ, потребуется доза проворства, бойкости, а, пожалуй, даже и нахальства. Такимъ образомъ, уже въ стѣнахъ школы устанавливается въ вашихъ понятіяхъ цѣлая традиція, и на основаніи ея образуется извѣстный товарищескій „духъ“. Вотъ это то именно „духъ“ я и не могу назвать доброкачественнымъ.

„Дѣлать нарочно“, то есть дѣйствовать, наперекоръ общему мнѣнію и здравому смыслу—вещь далеко не новая. И тутъ можно найти очень поучительные прецеденты въ крѣпостной практикѣ. Помѣщики неумные всегда такъ поступали; они заставляли людей дѣлать именно такое дѣло, къ которому послѣдніе совѣмъ не способны, и, по какому то совершенно безумному капризу, отрывали ихъ отъ работы въ такое время, когда работа всего больше необхо-

дима. Въ особенности же держались этой системы при распредѣленіи сельскихъ и хозяйственныхъ должностей, стараясь угадать, кто именно, въ качествѣ старосты или прикащика, можетъ быть всего неприятели мужикамъ. Предполагалось... но что именно тутъ предполагалось—этого даже приблизительно понять нельзя. Вѣроятно, что-нибудь тоже въ родѣ „утвержденія авторитетовъ“. Но выходила неслыханная безмыслица и неслыханное страданіе. Безумные люди какъ бы мстили хлѣбу за то, что онъ насыщаетъ ихъ. И мстили систематически, съ серьезнымъ ту-поуміемъ, ни на минуту не задумываясь надъ тѣмъ, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятіями.

Но мало того, что это вещь не новая—она, сверхъ того, и положительно вредная. Продолжительное практикованіе подобной системы убиваетъ не только тѣхъ, на которыхъ она практикуется, но и тѣхъ, которые практикуютъ ее. Оно дѣлаетъ практикующаго злымъ. О молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злымъ! Это тяжчайшая изъ всѣхъ казней, въ которой соединяется: и от-казъ отъ человѣческаго образа, и отрѣшеніе отъ радостей и благъ жизни, и добровольное самоустраненіе отъ общенія съ живыми людьми. Кто изъ васъ рѣшится этой цѣной купить себѣ славу челоуѣка, сгибающаго въ бараній рогъ? Взгляните на портреты наиболѣе прославившихся „сгибателей“—что вы увидите на этихъ угрюмыхъ и озабоченныхъ лицахъ, кромѣ безразсвѣтнаго мрака тоски! Пронеслись они бесплоднымъ, иссушающимъ вѣтромъ по лицу земли; раззоряли, преслѣдовали по пятамъ, душили и, наконецъ, сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости! И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій снѣшитъ скорѣй пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ...



Увы! все это, еще при жизни, было написано на ихъ лицахъ! все, даже предчувствіе забвенія, которое окружить ихъ могилы!

Тоска, отчаянне, одиночество, почти одичалость—вотъ старость, которую вы готовите себѣ. Конечно, эта метаморфоза можетъ, на первый взглядъ, показаться вамъ рискованною и даже смѣшною. Покуда, вы еще такіе радостные, проворные, общежительные—трудно даже представить себѣ, чтобы для васъ когда-нибудь наступилъ періодъ тоски и одичалости. Къ сожалѣнію, это не только возможно, но и неизбѣжно. Прикосновеніе къ извѣстной жизненной практикѣ производитъ въ человѣкѣ измѣненія, по истинѣ, волшебныя. Оно сушитъ жизненные соки, оно разомъ порываетъ тѣ невидимыя нити, которыя связываютъ человѣка съ человѣкомъ, оно отчуждаетъ человѣка, кладетъ на него печать выморочности. Стало быть, въ сущности, васъ ждетъ не перспектива молодечества, а перспектива унынія и медленнаго одинокаго разложенія. Подумайте объ этомъ теперь, когда еще не ушло время, потому что *посль*, когда въ васъ окончательно притупится способность воспринимать впечатлѣнія, когда вы *привыкнете*—будетъ уже поздно. Освоившись съ атмосферой, которая сама собой образуется вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себѣ ни силы, ни даже потребности жить для нея.

О молодые люди! когда вы съ такимъ неизреченнымъ легкомысліемъ начинаете грозить отечеству: вотъ я тебя!—вы не повѣрите, какъ тяжело бываетъ смотрѣть на васъ! И жалость беретъ, и отвращеніе, и страхъ. Жалость къ вамъ, отвращеніе — къ вашей неблаговоспитанности, страхъ—за все испуганное, валяющееся въ прахѣ, не имѣющее ни силы придти въ себя, ни смѣлости взглянуть вамъ въ глаза. Но что ужаснѣе всего: вы до такой степени презираете все, что *не вы*, что ничего не хотите ни слышать, ни видѣть, ни понимать. Все кругомъ предосте-

регаеть васъ, а вы все-таки идете на проломъ, грудью впередъ... куда?

Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и опредѣлить одною фразой: въ бараній рогъ согну! Право, такое опредѣленіе слишкомъ просто и коротко, чтобъ быть вѣрнымъ. Хотя это замѣчаніе и чисто внѣшняго свойства, но, повѣрьте, оно имѣетъ свою цѣну. Сложная масса и опредѣлений требуетъ сложныхъ—это аксіома, которую вамъ придется признать при первомъ нѣсколько серьезномъ столкновеніи съ жизнью. А вѣдь отъ этихъ столкновеній и вы не обезпечены, какъ ни беззавѣтно одушевляющее васъ легкомысліе...

. . . . .

Я знаю, что въ числѣ моихъ читателей очень многіе упрекнутъ меня за выборъ предмета, которому я посвятилъ эти бѣглыя очерки. Что такое эти провиденціальные младенцы? скажутъ они:—это не больше, какъ безсильная каста сорванцовъ-недоумковъ, которая, конечно, вызываетъ досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но которая, вслѣдствіе самой своей безсодержательности, никакъ ужь не можетъ вліять на будущее; это кучка изолированныхъ, непомнящихъ родства призраковъ, которые несомнѣнно исчезнутъ при первомъ появленіи солнечнаго луча. Масса, у которой и своего дѣла по горло, у которой нѣтъ времени смотрѣть на представленія Богъ вѣсть откуда явившихся клоуновъ, не только не чувствуетъ ихъ присутствія, но даже не знаетъ объ ихъ существованіи. Еслибъ они воистину имѣли рѣшающій голосъ въ историческихъ судьбахъ, то мы давно бы видѣли повсемѣстное заустѣніе. Но вѣдь этого нѣтъ, но жизнь еще не сложила оружія—стало быть, нѣтъ основанія и для опасеній. Пускай безумцы посылаютъ въ пространство свои угрозы, пускай пробуютъ свои молодыя силы на подвигахъ безцѣльнаго

молодечества—угрозы ихъ разнесетъ вѣтеръ, подвиги не перейдутъ за черту закодированнаго круга, въ которомъ они зародились. Стоитъ ли обращать вниманіе на эти переходящія сновидѣнія, въ которыхъ нечего осязать и которыя, въ добавокъ, до того безсвязны, что невозможно прослѣдить въ нихъ ни начала, ни середины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будутъ. Всегда существовать этотъ досадный фантастическій міръ, который надѣлливо жужжалъ въ уши и присаживался какъ можно ближе къ ирогу. И никогда онъ не измѣнялъ себѣ, хотя внѣшнія формы его, въ разное время, были различны. Всегда онъ хвастался, лгалъ и пустословилъ, но пустословіе это не оставляло слѣдовъ. И кто эти люди?—какіе-то едва вышедшіе изъ курточекъ младенцы... брысь!

Къ сожалѣнію, въ этомъ возраженіи я вижу только одну подробность, съ которой могу безусловно согласиться. А именно: что изслѣдуемый мною міръ есть во-истину міръ призраковъ. Но я утверждаю, что эти призраки не только не безсильны, но самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяютъ на жизнь. Это ужасно унижительно, но это такъ. Я понимаю очень хорошо, что, съ появленіемъ солнечнаго луча, призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этотъ солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гнететъ меня, это-то и заставляетъ ощущать страхъ за будущее. Мы ждемъ, что лучъ осѣнитъ нашу жизнь не дальше какъ завтра, но вѣдь и предшественники наши этого ждали, и ихъ предшественники—тоже. Отъ начала вѣковъ этого ждуть, тысячи поколѣній сторѣли въ этомъ ожиданіи, а міръ все еще кишитъ призраками. И наша дѣйствительность до того переполнена, залопонена ими, что мы, изъ-за массы призраковъ, не видимъ очертаній жизни. Мало того: мы сами отчасти дѣлаемся призраками, принимаемъ ихъ сладеу. Возможна ли обида горше этой? Увы!

они сильнѣе силы, живучѣе жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу ихъ подѣ игомъ призраковъ, и вы, читающіе эти строки—вы тоже читаете ихъ подѣ игомъ призраковъ...

Правда, что призраки, о которыхъ я повелѣю рѣчь, черзчуръ мизерны и юны, и потому ихъ призрачность кажется какъ бы сугубою. Тѣмъ не менѣе, я продолжаю утверждать: это тѣ самые призраки, которые стерегутъ наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечнаго луча, то и я жду его вмѣстѣ съ прочими, но ожиданіе это ни мало не разрѣжаетъ тяжелыхъ потемковъ, которые царствуютъ окрестъ.

.....

Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размышленія не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрымъ родственникомъ, люблю кузину Nathalie („она такая слабенькая, совсѣмъ, совсѣмъ куколка“), и охотно переношу эту любовь на ея сына. Мнѣ было бы очень больно, еслибъ Ѳединька игралъ дѣятельную роль въ этой мальчишеской комедіи потрясенія перстомъ. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотритъ на шалости молодыхъ людей, но вѣдь неровенъ часъ, вдругъ оно спроситъ: а позвольте, господа, узнать, кто уполномочилъ васъ дразнить вашихъ согражданъ и глумиться надъ любезнымъ отечествомъ? Что отвѣтитъ на этотъ вопросъ Ѳединька? Боюсь я, сильно боюсь, какъ бы мнѣ не пришлось сгорѣть за него со стыда.

Хоть онъ и не носитъ моей фамиліи, но все-таки онъ... Неугодовъ!! Неугодовъ... гдѣ бишь „сидѣлъ“ какой-то Неугодовъ? кому бишь другой такой-же Неугодовъ цѣловалъ крестъ? Вотъ они... Неугодовы!! Ужъ ради одного этого можно было побезпокоиться, чтобы послѣдній отпрыскъ этихъ достославныхъ „сидѣльцевъ“ и „цѣловальниковъ“ не осрамился въ конецъ.

Подъ вліяніемъ этихъ тревогъ, я рѣшился какъ можно скорѣе узнать, какъ полагаетъ Оединька поступить съ Россіей въ томъ недалекомъ будущемъ, когда чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника украситъ его формуляръ.

## ПЕРВОЕ МАРТА.

На мое приглашеніе повидаться, Фединка отвѣтилъ кратко: „Не могу. Дѣла по горло. Утромъ—читаю и запасуюсь фактами; вечеромъ—предсѣдательствую въ комисси. Когда-нибудь расскажу подробно“. Разумѣется, это извѣстіе еще больше взволновало меня. „Въ комисси!“ „предсѣдательствуетъ!“—такъ и звенѣло у меня въ ухахъ.

Къ сожалѣнію, я—литераторъ. Было время, когда я не могъ себѣ представить ничего завиднѣе этого положенія. Теперь, я это представленіе значительно видоизмѣнилъ, и выражаюсь ужъ такъ: хорошо быть литераторомъ, но не дѣйствующимъ, а *бывшимъ*. Да, именно такъ: не настоящимъ литераторомъ, не тѣмъ, который мучительно мечтаетъ, какъ-бы объѣхать на кривой загадочнаго незнакомца, а тѣмъ, который, совершивъ все земное, ясными и примиренными глазами смотритъ на жизненную суету, твердо увѣренный, что суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись до него ни единымъ запросомъ, ни единымъ униженіемъ, ни единой тревогой...

Онъ послужилъ на свой пай литературѣ, и послужилъ достаточно; онъ принесъ и ей, и обществу посильную дань пользы; онъ уврачевалъ множество скорбей, и на безчисленныя раны пролилъ бальзамъ исцѣленія; онъ испыталъ

въ свое время и тревоги борьбы и сладости одолѣнія (разумѣется, относительнаго); онъ предалъ забвенію первыя, и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаеть о вторыхъ; онъ вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго цѣлый запасъ анекдотовъ, которыми многіе годы можетъ продовольствовать массу своихъ почитателей; онъ добился общаго признанія своихъ заслугъ, и наконецъ — о заслуга превыше всѣхъ заслугъ! — онъ умѣлъ во-время сознать, что изъ сего лимона болѣе ничего не выжмешь, а затѣмъ смириться и воскликнуть: довольно! Какое положеніе можетъ быть почтеннѣе этого?

Онъ ужъ не литераторъ, но не считать его литераторомъ — нѣтъ никакой возможности. Во-первыхъ, это значитъ — обидѣть человѣка ни въ чемъ неповиннаго, кромѣ маститости; во вторыхъ, это было бы жестоко, ибо исключеніе изъ литературнаго сонмища лишило бы его утѣшенія рассказывать, какимъ путемъ онъ былъ приведенъ къ необходимости написать свой первый триолетъ; и въ третьихъ, это было бы неправильно и потому, что, несмотря на „отставку“, отъ всей фигуры этого счастливаго человѣка все еще такъ и прыщеть триолетами и акростихами. Правда, что все это триолеты прошлаго, но кто же поручится, что онъ вотъ-вотъ и сейчасъ не разразится какимънибудь рондо?

Человѣку, котораго, въ теченіи 30 — 40 лѣтъ, насквозь провизывала литературная „проходимость“ и сопряженная съ нею учрежденія, перестать сознавать себя литераторомъ столь же немислимо, какъ рыбной ватагѣ, насквозь пропитанной туздукомъ, перестать быть ватагою. Сверхъ того, правильно или не правильно, но съ званіемъ литератора, въ общественномъ мнѣніи, соединяется представленіе объ „умномъ человѣкѣ“. Княгиня Долгоухова, приглашая къ себѣ на чашку чая графиню Корноухову, говорить: у меня будетъ литераторъ такой-то, и это означаетъ, въ переводѣ

на обыкновенный языкъ: будетъ человекъ интересный, умный, *plus plus amusezons*. Стало быть, отказъ отъ званія литератора былъ бы равносильнъ сопричисленію себя къ лику не умныхъ людей, что совершенно противоестественно. Вотъ почему, никто изъ вкусившихъ отъ „литературной проходимости“ уже не отказывается отъ нея. Сгорбленный, съ палочкой въ рукахъ, бредеть отставной литераторъ по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта, и все-таки сознаетъ себя литераторомъ. Онъ уже утратилъ „словесность“, и даже въ крайнихъ случаяхъ только раззѣваетъ ротъ, по въ тѣ немногія минуты, когда кашель, одышка, цензурныя сердцебіенія (особливая, свойственная только литератору болѣзнь) и прочіе недуги оставляютъ его свободнымъ, онъ пользуется этими сладкими мгновеньями, чтобы коснѣющимъ языкомъ провозгласить: да, я—еще литераторъ!

И такъ, не считать его литераторомъ—невозможно. Но въ тоже время нельзя и считать его литераторомъ, ибо онъ уже не ядоносець, и торговлю „заблужденіями“ прикрылъ навсегда...

Положеніе нѣсколько двойственное, но вполне завидное. Съ одной стороны, публика не перестаетъ благоговѣть передъ маститымъ человекомъ, и втайнѣ даже какъ бы вопрошаетъ его: ужели же ты не подаришь насъ новымъ триолетомъ? Съ другой стороны, начальство уже простило ему всѣ бывшія заблужденія. И такимъ образомъ, всѣмъ онъ равно достолюбезенъ, всѣмъ равно милъ. Отъ однихъ—почтенъ, отъ другихъ — прощень. Вчера еще онъ былъ разбойникомъ печати, подрывателемъ основъ и кругольныхъ камней; сегодня—онъ только пріятнѣйшій собесѣдникъ, увлекательнѣйшій рассказчикъ, и несравненный дамскій кавалеръ. При видѣ его, сердца дамъ мгновенно зажигаются восторгомъ (впрочемъ, невиннымъ), блюстители благоустройства и благочинія весело потираютъ руки,



воскликая: отъ этого человѣка, какъ отъ козла—ни шерсти ни молока! Повторяю: какой удѣлъ можетъ быть слаще?

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется удѣлъ, уготованной судьбою писателю дѣйствующему. Публика видитъ въ немъ человѣка подневольнаго, и потому обращается съ нимъ безъ малѣйшаго благоговѣнія. Она не вопрошаетъ его со страхомъ: ужели тотъ тріолеть, который мы недавно прочитали—твой послѣдній тріолеть? но говоритъ прямо: вотъ каторжный, который напишетъ намъ столько тріолетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ! Иногда публика охотно читаетъ его, но никогда съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ *не* читаетъ писателя *бывшаго*. А что касается до женскаго пола, то объ этомъ и говорить нечего. Въ глазахъ дамочекъ, дѣйствующій литераторъ уже потому одному не интересенъ, что ему вѣчно некогда. Ни тонкаго разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатымъ женскимъ парадоксомъ, ни поисповѣдывать на счетъ какихъ-нибудь *rêchés mignons*, ни растревожить воображеніе—ничего онъ не можетъ. Сидитъ этотъ „писачка“ запершись у себя въ кабинетѣ, и все строчить. Тогда какъ бывший литераторъ—все у него къ услугамъ дамъ. И душа покладистая, и тѣло досужее, и языкъ безъ костей...

Съ своей стороны, и начальство смотритъ на дѣйствующаго литератора съ нѣкоторою осмотрительностью. Оно знаетъ, что литература, вслѣдствіе вѣкового недоразумѣнія, считается украшеніемъ, но въ тоже время не игнорируетъ и того, что излишество украшеній производитъ непріятную для глазъ пестроту. Вотъ кабы всѣ дѣйствующіе литераторы какимъ-нибудь сладкимъ волшебствомъ вдругъ превратились въ литераторовъ *бывшихъ*—вотъ было-бы хорошо! Напримѣръ, Державинъ... ода „Богъ“, „Фелица“... Или даже это:

Вечёръ красавицы-дѣвицы  
Мѣшокъ пшеницы принесли:  
Вѣдь раскляютъ же даромъ птицы—  
Возьми, старинишка, смели!

Вотъ это хорошо! Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки лучше было бы, еслибы онъ былъ Державинимъ, а не Пушкинимъ—ну, да ужъ Богъ ему, покойнику, простить! А эти дѣйствующіе литераторы... ахъ, эти литераторы!

Словомъ сказать, дѣйствующій литераторъ представляется чѣмъ-то закоренѣлымъ, нераскаленнымъ и до такой степени заблуждающимся, что онъ, подобно анекдотическому Пошехонцу, способенъ „въ трехъ соснахъ заблудиться“.

Разница въ положеніяхъ, какъ видитъ читатель, громадная...

Къ глубокому моему огорченію, я до сихъ поръ принадлежу къ числу литераторовъ дѣйствующихъ. Я знаю и понимаю, что давно бы мнѣ слѣдовало оставить заблужденія, давно пора бы предать забвенію письменныя принадлежности, и вообще „забыться и заснуть“, но—увы!—обстоятельства сильнѣе меня. Здѣсь не мѣсто объяснять, какого рода эти обстоятельства, но я долженъ сознаться, что „вышешнее“ и „прекрасное“ играютъ въ нихъ, сравнительно, довольно второстепенную роль. Я работникъ, труженикъ, и ежели „заблуждаюсь“, то преимущественно потому, что человѣку, однажды взявшему въ руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблужденія какъ-то сами собой вырастаютъ изъ-подъ пера, и чѣмъ быстрѣ бѣжитъ перо по бумагѣ, тѣмъ больше и больше оно плодитъ заблужденій. Разговариваю я, въ большинствѣ случаевъ, не только здраво, но и благонамѣренно, но едва прикасаюсь перомъ къ бумагѣ — сейчасъ же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты „Московскихъ Вѣдомостей“—и тѣ, мнѣ кажется, кружатъ въ трехъ соснахъ, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляютъ, и помои, въ которыхъ

макають это помело, все-таки прообразуетъ собой перо и чернила.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, дѣлается понятнымъ, что я положительно теряюсь всякій разъ, какъ только прослышу, что гдѣ нибудь затѣвается какая нибудь комиссія. О чемъ будетъ трактовать эта комиссія, какія новыя выдумки начнетъ разрабатывать—это для меня безразлично. Я знаю впередъ, что рано или поздно, такъ или иначе, она все таки кончитъ тѣмъ, что займется литературой. Сначала, задѣнетъ ее косвенно, потомъ больше и больше, а наконецъ, совсѣмъ забудетъ о предстоящихъ ей спеціальныхъ выдумкахъ, и займется исключительно литературой и одушевляющимъ ее „вреднымъ направленіемъ“...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь—на то я и литераторъ, чтобъ заблуждаться—но почему-то мнѣ думается, что иначе оно не можетъ и быть. И даже не „почему-то“ такъ думается, а просто на-просто я имѣю твердыя и достовѣрныя основанія такъ думать. Скучно вѣдь сидѣть въ этихъ комиссіяхъ, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное съ нею прекраснѣйшее содержаніе могутъ заставить людей издать сто одинъ томъ „трудовъ“, имѣя при томъ въ перспективѣ издать и еще столько же, безъ всякой надежды на результатъ! Представьте себѣ, наприимѣръ, положеніе такого шустрого и правоспособнаго малаго, какъ мой Фединька. Приходитъ онъ въ помѣщеніе засѣданія комиссіи, и сразу же чувствуетъ одно непреодолимое желаніе: какъ можно скорѣе удрать! Да и какъ не имѣть ему этого желанія! Въ комнатѣ царитъ казенная нагота; посрединѣ стоитъ форменный столъ, обставленный форменными же креслами; на столѣ въ изобилии разставлены зажженныя свѣчи, но и за всѣмъ тѣмъ, и стѣны, и потолокъ кажутся погруженными въ сумерки. Темно, голо, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенныя. Дамочекъ нѣтъ и въ по-

минѣ; вмѣсто нихъ, тамъ и сямъ мелькають испитыя лица какихъ-то крохоборцевъ, и у каждаго изъ нихъ въ рукѣ громадный картонный листъ съ наклеенными на немъ бумажками. Это „матеріалы“. Какъ тутъ поступить? неужто и въ самомъ дѣлѣ начать дебатировать? объ чемъ? Нѣтъ, проще всего, не вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса по существу, прямо предать „матеріалы“ тисненію. Рѣшили. А потомъ? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно — какая же это будетъ комиссія! — чѣмъ заняться, какъ провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вотъ тутъ-то именно и является на выручку литература.

Во первыхъ, литература, въ качествѣ „украшенія“, всякому сама по себѣ бросается въ глаза. Во-вторыхъ, она имѣетъ слабость интересоваться комиссіями и слѣдить за ихъ трудами. Это послѣднее свойство, въ особенности, служить для нея источникомъ безчисленныхъ и мучительнѣйшихъ огорченій.

Чуть только пройдетъ по городу слухъ, что нарождается новая комиссія, какъ литература уже начинаетъ ликовать: ну, слава Богу! теперь скоро! Но проходитъ полгода, проходитъ годъ, десять лѣтъ, наконецъ, сто лѣтъ, а объ комиссіи ни слуху, ни духу—словно въ воду канула! Известно только, что члены ея неупустительно собираются, неупустительно получаютъ присвоенное содержаніе, и упорно наклеивають бумажки на громадные картонные листы. Естественно, литература начинаетъ роптать. Сколько было возбуждено свѣтлыхъ надеждъ, и какъ беспощадно онѣ тускнѣють одна за другой! Учтиво, но твердо напоминаетъ она, что такого то числа исполнится столько-то лѣтъ со времени учрежденія комиссіи, и что поэтому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обѣдъ въ одной изъ залъ Hôtel Demouth. Что сдѣлала комиссія въ теченіи столь продолжительнаго періода

времени? вопрошаетъ литература, и тутъ же отвѣчаетъ: объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующій разъ...

Угроза не особенно страшная, но она вноситъ переполохъ въ сердца членовъ комиссіи. Ожиданіе, что вотъ-вотъ объ нихъ „въ слѣдующій разъ“ что-то поговорить, приводитъ ихъ въ негодованіе. Не то, чтобы они чувствовали страхъ, но—помилуйте!—вѣдь этакъ *всякій*... *Всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ обсуждать, *всякій* будетъ выкладывать, что ему Богъ на сердце положить! *Всякій*! И вотъ, картоны съ наклеенными бумажками откладываются въ сторону, и на сцену выступаетъ литература. Сначала произносится слово „распущенность“, потомъ „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ „вредное направленіе вообще“, и наконецъ... „потрясеніе основъ“!.. И все это по поводу лишь того, что Фединькѣ показалось обиднымъ, что объ немъ кто-то собирается поговорить „въ слѣдующій разъ“...

Меня всегда удивляло одно: зачѣмъ литература доводитъ себя до такихъ катастрофъ, ради комиссій, занимающихся изданіемъ ста одного тома „Трудовъ“? Какое ей дѣло до комиссій? какое дѣло комиссіямъ до нея? Ужели нельзя существовать ридомъ, безъ взаимныхъ раздраженій? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себѣ это изумительное *qui pro quo*, то именно тѣмъ, что таково уже свойство всякаго дѣйствующаго (воинствующаго) литератора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не можетъ не заблуждаться. Независимо отъ его воли, это неро наплодитъ такую массу заблужденій, что для искупленія ея недостаточно будетъ всей совокупности каръ, поименованныхъ въ „Уложеніи о наказаніяхъ“.

Но ежели литературѣ свойственно заблуждаться, то комиссіямъ еще свойственнѣе негодовать. Каждый въ этомъ конфликтѣ находится въ своей роли, каждый исполняетъ свое провиденціальное назначеніе. Поймите, въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ: *всякій* будетъ понуждать, *всякій*

будетъ угрожать, *всякій* будетъ говорить: вѣдь комиссія-то спитъ! Какимъ образомъ сохранить, при подобномъ порядкѣ вещей, душевное равновѣсіе, потребное для получения присвоеннаго содержанія?

И эта способность приходитъ въ негодованіе по поводу „сованій носа“, по поводу „непрощенныхъ разглагольствій“ и „хожденій съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь“, свойственна не только, такъ сказать, природнымъ членамъ комиссій, но и всякому русскому культурному человѣку, которому судьба броситъ на разжеваніе хоть какойнибудь, хоть даже просто-на-просто бросовый вопросъ. Лично, каждый культурный человѣкъ готовъ во всякое время и купить и продать, но разъ онъ очутился около какихъ-нибудь крохъ, и имѣетъ возможность производить сортировку ихъ—онъ будетъ защищать и эти крохи, и эту сортировку до изступленія. И будетъ негодовать на всякаго, кто затѣетъ *сунуть свой носъ* въ его *домашнее* дѣло.

Пусть каждый изъ читающихъ эти строки обдумаетъ ихъ, и пускай затѣмъ добросовѣстно отвѣтитъ: какъ бы онъ сталъ поступать, еслибы случай сдѣлалъ его членомъ, напримѣръ, комиссіи объ отысканіи „корней и нитей“, и еслибы, по случаю столѣтняго ея юбилея, какойнибудь *всякій* осмѣлился намекнуть, что учрежденіе это (безспорно полезное), издавъ триста три тома „трудовъ“, все-таки ни корней, ни нитей не отыскала? По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь въ составѣ комиссіи (какой бы то ни было—это безразлично)—я заблуждаюсь, то есть изыскиваю средства *сунуть свой носъ*; но едва лишь меня *помѣстили* въ оную—я закусываю удила и дѣлаюсь способнымъ только „негодовать“, то есть на всѣхъ перекресткахъ вопіять: помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели *всякій* будетъ „совать свой носъ“!

И еще характеристичная особенность. Хотя мы, куль-

турше люди, имѣемъ замѣчательную охоту къ разработкѣ „вопросовъ“, но предметомъ этой разработки почти всегда дѣлаемъ вопросы чисто отрицательнаго свойства. Нѣтъ чтобы что-нибудь оплодотворить, или открыть на пять копѣекъ втунѣ лежащихъ богатствъ, а непременно искоренить, истребить, послѣднія пять копѣекъ растратить. Какъ будто провиденціальная наша задача именно въ томъ и состоитъ, чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить, и во сто лѣтъ ничего не воздвигнуть.

Помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, судьба заперла меня на цѣлыхъ полгода въ Ниццѣ. Русскихъ въ этомъ городѣ—масса (что, въ значительной степени, обусловливается близостью Монте-Карло съ его рулеткою), и въ этомъ множествѣ набралось человекъ съ десятокъ знакомыхъ, для которыхъ поѣздки въ Монте-Карло представлялись не съ руки. Въ томъ числѣ были: два земскихъ дѣятели, одинъ предводитель дворянства, одинъ неномнящій родства экономистъ, одинъ задыхающійся прокуроръ, одинъ малокровный штабсъ-ротмистръ, одинъ „старый дипломатъ“ (съ совершенно голою, точно дѣтскою головою), два государственныхъ младенца (послѣдніе шестеро съ сохраненіемъ содержанія) и я. Всѣ мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры, ѣли пилюли и претерпѣвали адскую скуку. Кругомъ—блескъ и прозрачность; солнце такъ и горитъ; на темно-синемъ небѣ ни облачка; Средиземное море плещетъ; померанцы благоухаютъ, пальмы, олеандры, лавровыя деревья чаруютъ взоры... а мы сидимъ, кашляемъ и тоскуемъ. Нѣтъ у насъ ни собственнаго дѣла, ни собственной жизни. Министерство Бюффѣ-Брольи падаетъ, уступая министерству Бюффѣ-Дюфора, а намъ все равно. Гамбетта произноситъ рѣчь за рѣчью, а у насъ скулы болятъ отъ зѣвоты. Префектъ, мосье Декрѣ, балъ даетъ—насъ не приглашаетъ, и мы не печалимся этимъ, хотя понимаемъ, что, въ качествѣ „знатныхъ иностранцевъ“, имѣеть право предъ-

явить къ мосье Декрè претензію. Ни намъ никакого дѣла нѣтъ, ни до насъ ни кому дѣла нѣтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя въ Замоскворѣчьи, и не понимаемъ, что тутъ такого, въ этой „заграницѣ“, привлекательнаго. Развѣ вотъ услышимъ, что г. Фонъ-Дервизъ столько-то десятковъ тысячъ пожертвовалъ въ пользу бѣдныхъ города Ниццы, и былъ по этому случаю почтенъ отъ мосье Декрè визитомъ—ну, на минутку какъ-будто оживимся, молвимъ: вотъ истинно русскій патріотъ, который высоко держитъ знамя Россіи! И затѣмъ—опять ничего. Даже родная Русь—и та представляется воображенію, словно окутанная туманомъ, и ничѣмъ не напоминаетъ о себѣ, кромѣ замоскворѣцкой скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, и, наконецъ, одинъ изъ государственныхъ младенцевъ подалъ отличный совѣтъ.

— Придумалъ я, господа, прекраснѣйшее развлеченіе, сказалъ онъ однажды:—именно: выберемте какой-нибудь вопросъ, образуемъ изъ себя комиссію для разработки его и будемъ поступать такъ точно, какъ бы мы поступали, засѣдая въ заправской комиссіи. Во-первыхъ, это напомнить намъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ, поможетъ скоротать время вполне на родной манеръ!

Мысль эта была всѣми встрѣчена съ увлеченіемъ. „Чудесно! думалось всѣмъ:—и старая скука отъ насъ не уйдетъ, и новой скуки отвѣдаемъ—все же, между двухъ скукъ, скорѣе время пройдетъ!“ Оставалось, слѣдовательно, только найти „вопросъ“, который могъ бы достойнымъ образомъ занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономистъ, разумѣется, высказался, что всего приличнѣе было бы заняться обсужденіемъ вопроса о лежащихъ втунѣ богатствахъ, но предложеніе это было встрѣчено не только съ недоумѣніемъ, но даже почти съ нетерпѣніемъ.

— А ну ихъ! единогласно отозвались всѣ.

Затѣмъ, нѣкоторое время, для приличія, поцеремонились,



но, наконецъ, сознали ясно, что въ средѣ русскихъ культурныхъ людей, даже подъ темно-синимъ небомъ Ниццы, даже ради „игры“, не можетъ быть никакой иной коммисіи, кромѣ коммисіи объ искорененіи.

— Объ искорененіи—чего? какъ будто изумился экономистъ.

Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.

— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать—оно само собой опредѣлится! отвѣчали одни.

— Какъ — объ „искорененіи — чего“? просто-на-просто удивились другіе.

Вообще, вопросъ экономиста всѣмъ показался настолько безпочвеннымъ, что даже самъ формулировавшій его сейчасъ же убѣдился въ его неумѣстности и поспѣшилъ взять назадъ свое предложеніе, яко нарушающее общее душевное равновѣсіе.

И вотъ, избравъ своимъ предсѣдателемъ „старого дипломата“, помощникомъ его—предводителя дворянства, а секретарями—двухъ государственныхъ младенцевъ, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что собственно мы дебатировали—этого я теперь опредѣлить не могу. Можетъ быть, позабылъ, но, можетъ быть, и никогда не помнилъ. Помню только, что изъ нашихъ дебатовъ что-то выходило, или, по крайней мѣрѣ, выходило настолько, что, въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ существованія нашей коммисіи, накопилося до десяти томовъ „трудовъ“.

Помаленьку да понемножку, мы все искоренили: и то, что служить начальству огорченіемъ, и то, что приносить ему утѣшеніе. Искоренять такъ искоренять, особливо въ Ниццѣ, гдѣ никто даже мосье Декрѣ не шепчетъ, что вотъ, дескать, явились какіе-то одержимые, которые и то, что подрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, что поддерживаетъ оныя, поправки не даютъ. Но, обсудивъ внимательно подлежащія искорененію предметы, мы все-таки

пришли къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... литература. Какимъ образомъ мы пришли къ этому заключенію—я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея объ искорененіи литературы есть идея врожденная, отъ природы свойственная русскому культурному человѣку. Какой вредъ наносила литература намъ, „шлющимся“ людямъ, собравшимся вкупѣ для „игры въ комиссіи“—это теперь для меня совсѣмъ непонятно. Но помню, что тогда, когда я находился въ самомъ сердцѣ „дѣла“, было и понятно, и убѣдительно.

Однакожь, въ началѣ „игры“, ощущая себя литераторомъ, я затѣсался „на-лѣво“ (лѣвѣе меня сидѣлъ только прокуроръ, но тотъ ужъ былъ чистѣйшей воды монтаньяръ) и довольно бодро и высоко держалъ знамя оппозиціи. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабсъ-ротмистръ, споспѣшествуемый прокуроромъ, предложилъ одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ ѣздный городъ Мезень (прокуроръ, вмѣсто Мезени, допускалъ Варнавинъ—одною степенью меньше), то я не выдержалъ и произнесъ очень горячую и прочувствованную рѣчь.

— Господа! сказалъ я:—я понимаю, что вопросъ объ искорененіи литературы не могъ избѣжать предназначенной ему участи, но рѣшительно не могу понять того ожесточенія, съ которымъ вы приступаете къ его обсужденію. Что сдѣлала наша литература столь преступнаго, что вы находите недостаточнымъ простое ея искорененіе, но предлагаете таковое съ употребленіемъ огня и меча? Чѣмъ заслужила она участіе палача въ имѣющемъ постигнуть ее искорененіи? Или оскудѣли городовые? Или стрѣлы небесныя и земныя утратили свою силу и мѣткость? Нѣтъ, все идетъ своимъ чередомъ, городовые стоятъ на своихъ

мѣстахъ, а небо, какъ и дровлѣ, сылетъ на насъ своими молніями!.. А мы, простые гулящіе русскіе люди, въ платоническомъ изступленіи раздираемъ на себѣ ризы! Почему?

— Я знаю, васъ возмутило то, что въ полученномъ нами вчера номерѣ газеты „Чего изволите?“, вмѣстѣ съ сообщеніемъ о засѣданіяхъ нашей комиссіи, намъ дается благожелательный совѣтъ не проводить время въ безплодномъ наклеиваніи бумажекъ на картонные листы, но дѣйствительно искоренить все, что искорененію подлежитъ. („А что-же не подлежитъ?“ съ грустью спрашиваетъ себя газета).. Я охотно допускаю вмѣстѣ съ вами: лучше бы, еслибъ совѣта этого не было. Но, относясь къ дѣлу безпристрастно, все-таки нахожу, что тутъ еще нѣтъ большаго худа. Во-первыхъ, благодаря этому сообщенію, на насъ обращены взоры цѣлой Россіи, что даже весьма лестно; во-вторыхъ, предметовъ, подлежащихъ искорененію, накопилось такое множество, что поторопиться съ этимъ дѣломъ — дѣйствительно не лишнее; въ-третьихъ, ежели и допустить, что неприятно видѣть, какъ какая-нибудь газета „суетъ свой носъ“, такъ вѣдь это неприятность не особенно важная и притомъ скоропреходящая. Разъ „сунетъ носъ“, въ другой „сунетъ носъ“, а въ третій... яко исчезаетъ дымъ... Да, именно такъ. Развѣ, кромѣ насъ, не найдется благожелательныхъ лицъ, которыя съ послѣднею ясностью докажутъ газетѣ, что „совать носъ“ не полагается? Развѣ сама газета, съ врожденною ей готовностью, не поспѣшитъ усвоить себѣ эту точку зрѣнія? Я самъ литераторъ, господа...

При этомъ напомниманіи, прокуроръ быстро взвился съ своего кресла и, обращаясь къ предсѣдателю, задыхающимся голосомъ проищѣлъ:

— Прошу г. предсѣдателя напомнить *защитнику*, что здѣсь онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ литературѣ...

Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ пару дегтарныхъ пилюль; предсѣдатель же съ дѣтскимъ любонитствомъ взглянулъ на меня, какъ бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумѣется, я поспѣшилъ исполнить его желаніе.

— Я ужь давно забылъ, продолжалъ я: — и если это горькое воспоминаніе сорвалось съ моего языка, то совсѣмъ не для того, чтобы оскорбить почтенныхъ моихъ товарищей по комиссіи, а для того единственно, чтобы собственнымъ примѣромъ подкрѣпить сейчасъ высказанную мною мысль. Я по опыту знаю, господа, съ какою готовностью наша литература усваиваетъ точки зрѣнія, указываемыя ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда былъ калѣвой! Было время, когда и я былъ тѣмъ... ну, тѣмъ, объ чемъ теперь позабылъ! И, какъ сейчасъ помню, я даже любилъ, когда мнѣ сообщали „точки зрѣнія“. „Такъ я, стало-быть, заблуждался?“ — обыкновенно говорилъ я въ этихъ случаяхъ: „извольте, я это заблужденіе въ слѣдующемъ же номерѣ искуплю!“ И искупалъ. Вотъ какъ легко и пріятно это дѣлается, а совсѣмъ не такъ, какъ представляютъ это дѣло люди радикальной партіи, которые желаютъ внушить, будто въ это время въ груди у литераторовъ...

На этомъ мѣстѣ, рѣчь моя была снова прервана, потому что прокуроръ потребовалъ, чтобъ меня призвали къ порядку. Предсѣдатель нѣсколько мгновеній растерянно осматривался по сторонамъ, но, наконецъ, рѣшился:

— Призываю васъ къ порядку, cher collègue! сказалъ онъ:—я дѣлаю это съ стѣсненнымъ сердцемъ, но вы понимаете, что ежели господинъ прокуроръ сдѣлаетъ обо мнѣ недостаточную аттестацію, то я...

— Понимаю, отвѣчалъ я:—и съ покорностью принимаю вашъ призывъ. Но позволю себѣ сказать нѣсколько словъ

въ свое оправданіе. Упомянув о людяхъ радикальной партіи, я отнюдь не хотѣлъ этимъ названіемъ оскорбить кого бы то ни было. Еслибъ и употребилъ это выраженіе въ смыслѣ, наприимѣръ, Ледрю-Роллена—я понимаю, что этимъ мною была бы нанесена серьезная обида. Но я русскій человѣкъ, господа; и очень хорошо знаю, объ чемъ говорю. У насъ радикалы своеобразные; у насъ радикалами называются преимущественно тѣ, которые особливую пользу приносятъ по части пресѣченія и предупрежденія. Я лично зналъ одного подчаска, который говорилъ мнѣ: ахъ, еслибъ эти долгогривые знали, какъ я имъ втайнѣ сочувствую! И дѣйствительно онъ „сочувствовалъ“, хотя это не мѣшало ему блюсти за своевременною сколкой льда въ вѣренномъ ему районѣ! Такъ вотъ объ какихъ радикалахъ я упоминалъ. Затѣмъ, возвращаясь къ предмету моей рѣчи. Вы говорите, господа, что литературу слѣдуетъ предать огню и мечу, но прежде, нежели вы рѣшитесь сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе, позвольте вамъ напомнить, что литература, по общему сознанію, есть „украшеніе“. Это не я говорю, это говоритъ всѣ, это скажетъ даже каждый изъ васъ, какъ только оставитъ стѣны этого помѣщенія, и очутится на Promenade des Anglais.

— Тамъ, встрѣтившись съ мосье Карромъ \*) или съ мосье Перю \*\*) вы непременно заведете рѣчь о литературѣ, удивитесь богатству французской литературы, и вздохнувъ, присовокупите: „счастлива та страна, въ коей процвѣтаетъ литература“. Почему вы скажете все это?—а потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ лѣтъ слышалъ и привыкъ вѣрить, что литература есть „украшеніе“! Ка-

\*) Альфонсъ Карръ, извѣстный французскій писатель, живущій въ Ниццѣ.

\*\*) Мѣстный ниццскій фельетонистъ, которому ниццскія интернаціональныя дамы предварительно показывают свои костюмы, предназначенные для выѣзда на балъ, дабы не произошло ошибки при описаніи ихъ въ предстоящемъ газетномъ фельетонѣ.

кимъ же образомъ вы приступите къ этому „украшенію“ съ огнемъ и мечемъ! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли въ васъ разумокъ?

— Я знаю, вы скажете мнѣ, что это недоразумѣніе, которое комиссія не имѣетъ ни малѣйшей обязанности принимать въ расчетъ. Соглашаюсь и съ этимъ. Но недоразумѣніе это создано вѣками, господа, и, слѣдовательно, если нынѣ и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушеніе произойдетъ постепенно, при помощи мѣръ рѣшительныхъ, но не бросающихся въ глаза, однимъ словомъ, пускай процессъ искорененія совершится самъ собою, такъ сказать, естественнымъ путемъ. Забудьте объ огнѣ, и шпигуйте потихоньку—и вы увидите, что газета „Чего изволите?“, на которую вы такъ негодуете, сама пойметъ, что ей ничего другого не остается, какъ умереть...

— Но этого мало. Я не могу скрыть отъ васъ, что въ томъ вѣковомъ недоразумѣніи, которое утвердило за литературой названіе „украшенія“, очень сильное участіе принимаетъ и общій просвѣтительный уровень страны. Чѣмъ просвѣщеніе страна, тѣмъ упорнѣе держится въ ней мнѣніе о томъ, что составляетъ истинное ея „украшеніе“. Поэтому, даже при усвоеніи рекомендуемаго мною метода постепенности, вамъ придется прибѣгнуть не къ одному непосредственному шпигованію, но и заглянуть нѣсколько въ глубь. Я знаю, что вы очень высокаго мнѣнія о просвѣщеніи, и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, сколько мнѣ помнится, потребные для сего матеріалы уже собраны и составляютъ пятый томъ „Трудовъ“), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте, однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдетъ времени, покуда вы не урегулируете просвѣщеніе до той степени, что даже самое представленіе о литературѣ изгладится изъ народнаго сознанія!

— Затѣмъ, мнѣ остается сказать лишь немного словъ въ заключеніе. Но слова эти очень вѣски, и я чувствую всю тяжесть отвѣтственности, которая падетъ на меня за нихъ. Милостивые государи! вамъ, конечно, не безъизвѣстно выраженіе: *scripta manent*. Я же, подѣ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: *semper manent, in secula seculorum!* Да, господа, литература не умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ, одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ. Мы испытываемъ вѣчность, мы стараемся понять ее—и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературѣ—и мы, хотя отчасти, откроемъ тайну вѣчности! Ахъ, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, какъ все это прискорбно для насъ, членовъ комиссіи „объ искорененіи“, и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова, но скрыть отъ васъ эти соображенія — выше силъ моихъ! Будемте же мудры, милостивые государи! оставимъ мысль о мечѣ и огнѣ, и довольствуемся примѣненіемъ къ литературѣ тѣхъ мѣръ простого искорененія, которыя вы находите достаточными въ видахъ устраненія кражи земскихъ и иныхъ общественныхъ суммъ. *Dixi et animam levavi.*

Я кончилъ, но ни одно рукоплесканіе не поощрило меня. Напротивъ, члены смотрѣли мрачно, и какъ только умолкъ мой голосъ, всѣ единогласно немедленно потребовали голосованія безъ преній. Моего мнѣнія, какъ пи на чемъ не основаннаго, даже не голосовали, а прямо занялись мнѣніемъ штабсъ ротмистра и прокурора. Мнѣніе это было принято *единогласно*. Всѣ десять шаровъ были положены направо, а стало быть въ томъ числѣ и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашель весьма естественнымъ.

Только, спустя часъ, гуляя по Promenade des Anglais, я опомнился. Встрѣтилъ легкомысленнаго фельетониста Нерво и рассказалъ ему, какое у насъ убійство произошло, и какъ я геройски при этомъ себя велъ.

— Чѣмъ же рѣшили? сиросиль онъ меня.

— Ну, разумѣется: предать огню и мечу!

— Saperlotte! а вы?

— Ну, разумѣется, и я вмѣстѣ съ другими...

— Est-ce possible!

— Mais que voulez vous que je fasse!

.....

Послѣ этого, я, разумѣется, никогда не игралъ въ комиссіи, но достаточно было одного сейчасъ описаннаго случая, чтобъ оставить во мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Зная по опыту, какъ естественно русскій человѣкъ приходитъ къ мысли о необходимости искорененія литературы, и зная, въ тоже время, что ничто такъ близко не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ, я нетолько самъ лично стараюсь держаться въ сторонѣ отъ всякихъ комиссій, но и за родственниковъ своихъ боюсь, если вижу, что они начинаютъ задумываться о томъ, какъ бы подойти поближе къ широгу. Непремѣнно онъ что-нибудь насчетъ литературы выдумываетъ! думается мнѣ: и выдумаетъ, непремѣнно выдумаетъ!



Сознаюсь откровенно, что въ эти опасенія входитъ въ значительной долѣ и личное чувство. Повторяю: я литераторъ дѣйствующій, я труженикъ, обязанный держать въ рукѣхъ перо ежеминутно—и обременить меня очень легко.

Поэтому, тревога моя, по полученіи извѣстія объ участіи Ѳединьки въ трудахъ какой-то комиссіи, очень понятна. Ужели онъ, ради фельдмаршальскаго жезла, и дядю родного не пощадить? съ тоскою твердилъ я себѣ, предположивъ этому восклицанію цѣлое разсужденіе объ ослабленіи родственныхъ узъ въ наше непостоянное время.

Наконецъ, я не вытерпѣлъ, и самолично отправился къ Ѳединькѣ. Но тутъ меня ждалъ новый ударъ: меня просто-на-просто не допустили до него. Лакей безъ церемоній загородилъ мнѣ входъ въ эдемъ, и на всѣ мои домогательства съ твердостью отвѣчалъ, что его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности) занять съ Иваномъ Михайлычемъ...

Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ быть, это какойнибудь новый Бертрамъ...

Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дѣло и обошлось бы, но Иванъ Михайлычъ...

Я возвращался отъ Ѳединьки домой и грустно напѣвалъ дуэтъ Бертрама и Рембо...

А что, если бы подыскать Алису?.. Фуй!

Во всякомъ случаѣ, я утратилъ надежду видѣться съ Ѳединькой... до 1-го апрѣля. Первое апрѣля, въ праздникъ Пасхи, онъ, навѣрное заѣдетъ похристосываться съ своимъ старымъ дядей...

## ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ.

Педчувствіе не обмануло меня: въ день Пасхи Ѳединьга явился-таки ко мнѣ. Онъ уже покончилъ съ визитами и пріѣхаль отдохнуть, но былъ, какъ и слѣдуетъ въ такой великій праздникъ, во фракѣ. Разумѣется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?

— Спасибо, дядя; вы вотъ на что лучше посмотрите, отвѣтилъ онъ, указывая на Аннинскій крестъ, висѣвшій у него на шеѣ. Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я пріятно изумился. Отступилъ два шага назадъ, прищурился и развелъ руками въ знакъ родственнаго удивленія.

— Помимо св. Станислава! продолжалъ между тѣмъ Ѳединьга, и прибавилъ:—joli?

Часъ отъ часу не легче. Отъ изумленія пришлось перейти къ гордости и вновь похристосоваться.

— Послушай, Théodore, сказалъ я:—до сихъ поръ я понималъ, что можно утѣшаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!

— Да, я увѣренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой другъ. Разумѣется, однакожь, ежели Богъ спасетъ тебя отъ похищенія казенныхъ или общественныхъ денегъ...

Но Ѳединька съ такимъ неподдѣльнымъ негодованіемъ протестовалъ противъ самой мысли о возможности подобнаго случая, что я вынужденъ былъ объясниться.

— Другъ мой! сказалъ я:—ежели я позволилъ себѣ формулировать опасеніе насчетъ растраты денегъ, то совѣмъ не потому, чтобы надѣялся, что ты непременно его исполнишь, а для того, чтобы предостереженіемъ моимъ еще болѣе утвердить тебѣ на стезѣ добродѣтели. Мужайся, голубчикъ! ибо, по нынѣшнему слабому времени, надо обладать несомнѣннымъ геройствомъ, чтобы не стаянуть плохо лежащаго куша, особливо, ежели онъ большой. Но ежели ты, будучи Аннинскимъ кавалеромъ, сверхъ того сознаешь себя и героемъ, то, разумѣется, тѣмъ лучше для тебя! Поздравляю .. герой!

Повидимому, это объясненіе его тронуло, такъ что и онъ, въ свою очередь, возгордился мною.

— Mon oncle! сказалъ онъ, крѣпко сжимая мои руки:— я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тѣмъ, что вы мой дядя! Ахъ, еслибы вы...

Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча потушилъ голову. Однакожь, я понялъ его.

— Еслибъ я не былъ литераторомъ, хотѣлъ ты сказать? спросилъ я его.

— Да... нѣтъ... нѣтъ, не то! оправдывался онъ.—И Державинъ былъ литераторомъ, и Дмитріевъ... Ода „Богъ“— *c'est sublime, il n'y a rien à dire!* Ахъ, еслибы вы...

— Оду „Богъ“ написали?... ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь!

Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

— А маменька знаетъ объ этомъ? спросилъ я, указывая на крестъ.

— Знаетъ. Сейчасъ получилъ отъ нея телеграмму изъ Парижа. Вотъ.

„Petersbourg. Znamenskaya, 11,  
„Neougodoff.

„Félicite chevalier. O Pâques, o sainte journée! Envoyez 4.000 francs, demain échéance; sinon—Clichy. Nathalie“.

Сердце у меня такъ и ёкнуло. „Вотъ сейчасъ попросить денегъ“! думалось мнѣ. И вдругъ:

— Дядя! нѣтъ ли у васъ? обратился онъ ко мнѣ.

Вопросъ этотъ ужасно меня смутилъ. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мнѣ казалось, что онѣ мнѣ самому нужны. Нынче всѣмъ вообще деньги надобны, и вотъ почему столь многіе крадутъ. Но и краденныя деньги не бросаютъ зря всякому просящему, а тоже говорятъ: намъ самимъ нужны. Что-же сказать о деньгахъ собственныхъ, кровныхъ? А сверхъ того и еще: въ кои-то вѣки сеютишь изрядный кушъ и думаешь,—вотъ теперь-то я распоряджусь... И только что начнешь подносить ко рту кусокъ, какъ приходитъ нѣкто и выхватываетъ его. Ужасно неприятно.

— Дядя! вѣдь Clichy! какъ-то тоскливо пискнулъ Единька, видя мое раздумье.

— Да вѣдь за долги, кажется, ужь не сажаютъ?

— Тамъ—сажаютъ, mon oncle.

— Ахъ, Боже какое варварство! Про русскихъ говорятъ, что они—варвары, а между тѣмъ, у насъ... Да, мой другъ, мы должны гордиться, что живемъ въ странѣ благоустроенной, а не въ какой-нибудь Макмагоніи, которая не нынче—завтра превратится въ Гамбетгію! Конечно, у насъ нѣтъ многого, что у нихъ есть, но за то и у нихъ нѣтъ многого, что есть у насъ. Христось воскресъ! поцѣлуемся!

— Такъ вы дадите, дядя?

— А у тебя развѣ нѣтъ?

— Ни драхмы!

Неприятно въ высшей степени. Я только что рассчитывалъ побаловаться лѣтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаревъ французенокъ какихъ-то необыкновенныхъ законтраговалъ... И еще говорятъ: въ Зоологическомъ саду женщину-великана показывать будутъ, которая у себя на груди цѣлое блюдо съ 20-ти фунтовымъ ростбифомъ ставитъ, да такъ, шельма, и ѣсть! Хорошо бы со всѣмъ этимъ подробнѣе ознакомиться, не въ качествѣ зрителя, а такъ сказать не въ примѣръ другимъ... Но съ другой стороны, какъ же оставить и Nathalie? Что такое Nathalie? Nathalie—это сокращенная сахарная куколка, которая... И даже не „куколка“, а просто куколка—и все тутъ. Можетъ ли „куколка“ не тратить денегъ?—Нѣтъ, не можетъ. Она тратитъ ихъ ненарочно, тратитъ, потому что это въ ея природѣ, какъ въ природѣ у птицы—лѣтъ. Она тратитъ все время, покуда находится въ бодрственномъ состояніи, то есть начиная съ той минуты, когда она совершила свой утренній туалетъ, и до той, когда облачится въ свой ночной туалетъ. И все, что она ни видитъ передъ собой—все считаетъ подлежащимъ завладѣнію. Ежели глиняную свистульку увидитъ, и той овладѣть: не попадайся на глаза! И ежели у нея нѣтъ денегъ, чтобы купить, она возьметъ въ долгъ. И нѣтъ той хитрости, которую бы она не пустила въ ходъ, чтобъ приобрести деньги или кредитъ. То назоветъ себя княгиней, то солжетъ, что у нея золотыя прінски, или рыбныя ловли—*labàs, dans les stepres*. Даже наклевететъ на себя, не постыдится намекнуть, что у нея есть богатый любовникъ. А ежели и за всѣмъ тѣмъ не добудетъ ни наличныхъ, ни кредита, то будетъ проводить время въ *желаніи* тратить деньги, въ *желаніи* дѣлать долги. Хорошо, что природа устроила такъ, что и „куколкамъ“ нуженъ сонъ, отдыхъ, пища, а мода, въ свою очередь, возложила на нихъ обязанность одѣваться и *causer*

avec les messieurs. Еслибы этого не было, онѣ и то время, которое нужно для сна и одѣванья, тоже употребляли бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до известной степени одарила ихъ глаза способностью разбѣгаться, потому что въ противномъ случаѣ онѣ, навѣрное, потребовали разомъ весь magasin du Louvre. И еслибы имъ сказали, что это нельзя, такихъ дескать, денегъ нѣтъ, то онѣ съ четверть часа были бы неутѣшны и затѣмъ отправились бы въ магазинъ Au bon marché.

И такую-то „куколку“—въ Клиши! за что? за то ли, что она выполняетъ свое провиденціальное назначеніе? За то ли, что у нея и татап была куколка, и воспитательницы—куколки, и подруги юности—куколки? За то ли, что и у покойнаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него въ домѣ будетъ... „куколка“?

Конечно, серьезно быть спутникомъ жизни такой „куколки“ должно быть нѣсколько глуповато; но смотрѣть и млѣть со стороны, или быть штабсъ-ротмистромъ и видѣть, какъ она порхаетъ, какъ все ее радуетъ и все огорчаетъ, и какъ она при этомъ, сквозь слезки, лепечетъ: ахъ, я вѣдь совсѣмъ-совсѣмъ, глупенькая,—воля ваша, это высокое эстетическое наслажденіе! Нѣтъ, надо непременно послать Nathalie деньги, и даже какъ можно скорѣе, потому что она, пожалуй, непарочно и фальшивыхъ документовъ надѣлаетъ. Развѣ она знаетъ? развѣ она можетъ что-нибудь взвѣсить, предвидѣть, различить? Nathalie .. un coeur d'or!

— Деньги у меня готовы, произнесъ я твердо.

— Mon oncle! vous êtes un ange! un coeur d'or!

— Но съ двумя условіями, продолжалъ я:—во-первыхъ, мы сегодня обѣдаемъ вмѣстѣ...

— Ахъ, mon oncle! не только обѣдаемъ, но и весь вечеръ, весь день... сколько угодно!

— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируемъ вмѣстѣ

телеграмму Наташѣ, разумѣется, отъ твоего имени. Это необходимо выполнить какъ можно скорѣе. Nathalie—милая; но именно поэтому-то она и способна надѣлать глупостей.

Мы присѣли къ столу и соединенными силами редактировали слѣдующее:

„Paris. Grand hôtel.

„Nathalie Néougodoff.

„Paques deux jours banques fermées. Après demain aurez somme voulue Venez Petersbourg prison pour dettes abolie. Pouvez tout acheter sans payer.

„Néougodoff“.

— Ты понимаешь, сказать я, когда депеша была готова:—если ей не пообѣщать, что она можетъ здѣсь покупать безъ денегъ, то она скажетъ себѣ: зачѣмъ-же я туда поѣду? Тогда какъ на этихъ условіяхъ, ей будетъ, навѣрное, лестно воротиться на родину.

Но Оединьку вся эта процедура, повидимому, повергла въ печальное настроеніе.

— Ахъ, татапа, татапа! произнесъ онъ, грустно вздыхая.

— Что такое: татапа? Татапа какъ татапа! Не у одного тебя, и у другихъ. Вонъ у твоего школьнаго товарища Самогитскаго, котораго быстрой карьерѣ ты, помнишь, какъ-то разъ позавидовалъ, такъ у него татапа прямо на содержаніи живеть, а онъ не только не груститъ, но даже пользуется этимъ!

— Ахъ, дядя-голубчикъ! вѣдь вы не знаете... Монпренò то наше ужъ продано!

— Какъ! Монпренò!

— Да, Монпренò... le sabre... то-бишь, les cendres de mon père! Продано, дядя, продано!

— Однако... вы шибко!

— Все продано, больше и продавать нечего, а она то въ Ниццѣ, то въ Парижѣ!.. Повѣрите ли, однажды даже

вдругъ въ Систовѣ очутилась... зачѣмъ? И отовсюду шлеть телеграммы: argent envoyez! А гдѣ я возьму!! Вотъ и теперь: еслибъ не ваша помощь—гдѣ бы мнѣ эти четыре тысячи франковъ добыть?

Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало быть, мои денежки! Однакожь, я кое-какъ скрѣвился и произнесъ:

— Ничего, Богъ милостивъ! какъ-нибудь устроитесь!

— Нѣтъ, не устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle! Пробовалъ я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изложилъ всю неприглядность нашего матерьяльнаго положенія—и вотъ какой отвѣтъ получилъ. Прочтите.

Фединька вынулъ изъ кармана бумажникъ, порылся въ немъ и подалъ мнѣ сложенную вчетверо бумажку, развернувъ которую, я прочиталъ:

„Неблагодарный сынъ Θεодоръ!

„Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися въ ономъ неумѣстными наставленіями была глубоко возмущена. Но я—мать, и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ, послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведенія. До сихъ поръ, я симъ предоставленнымъ правомъ не пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному меня вынудятъ, то повѣрь, что я съумѣю доказать, что и у меня нѣтъ недостатка въ твердости души...

„A toi de coeur

Nathalie“.

„P. S. Au nom du ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé“.

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомнѣнно принадлежали Наташѣ. И что всего замѣчательнѣе: подлѣ ея имени виднѣлось размазанное пятно: очевидно, сюда капнула слезка. Стало быть,



Nathalie въ одно и тоже время и скорбѣла, и понимала, что исполнять долгъ. Сердце ея сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... потому что это былъ ея долгъ!

— Слушай! воскликнулъ я въ изумленіи: — да откуда же она узнала о существованіи смирительнаго дома?

— Стало быть, узнала,

— А что ты думаешь! вѣдь это у нихъ, должно быть, врожденное, то есть у русскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покойница матушка — ужъ на что, кажется, любила меня—а разсердится, бывало,—сейчасъ: и тебя въ Суздаль-монастырь упеку! Тогда, другъ мой, еще Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь, съ смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ явился. Какъ ты думаешь, что лучше?

— Ахъ, mon oncle!

— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, въ сущности, это было нѣчто миѣическое, скорѣе анекдотъ, нежели былъ. Смирительный же домъ, особливо при существованіи суда милостиваго и скорога, есть нѣчто конкретное, отъ чего ужъ не отвертись, коли на то дѣло пошло! Гм... да... Но съ которыхъ же поръ она *симъ* и *онимъ* выучилась — такъ и сыплеть!

— Не знаю... Вѣроятно, это письмо для нея Дроздовъ написалъ... Помните, у меня воспитатель былъ?

Фединька сказалъ это и вдругъ весь заагѣлся.

— Длинный такой, точно пожарная кишка... помню, помню! Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь невзначай въ комнату, а онъ вдругъ въ углу взвѣется, въ знакъ привѣтствія, и сейчасъ же, совсѣмъ неожиданно, пополамъ переломится... Неужели же онъ...

— Онъ, mon oncle. Она его гдѣ-то подъ Телишемъ встрѣтила—онъ туда съ корпѣй отъ дамскаго кружка ко-

мандировать былъ—и съ тѣхъ поръ по Европѣ возить. И всѣмъ рекомендуетъ: l'ami de feu mon mari... это Дроздовъ-то! Помните, какъ разъ его покойный папенька нагайками отодрала... Онъ, mon oncle, онъ! Онъ, вѣроятно, и деньги у нея выманываетъ. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle!

Фединька замолчалъ и отвернулся къ окну.

— Ахъ, бѣдный мой! бѣдный! невольно воскликнулъ я.

— Сколько вреда эти исторіи мнѣ дѣлаютъ, еслибъ вы знали! продолжалъ онъ, не оборачиваясь ко мнѣ: — наше милое, бѣдное Монрепѣ...

— Ну, какъ-нибудь... что тутъ! У тебя родныхъ бездѣтнихъ много—не тотъ, такъ другой; я, на примѣръ, первый...

— Благодарю васъ. Но *теперь*... Во-первыхъ, *теперь* я ничего не имѣю... les cendres de mon père! А во-вторыхъ, развѣ вы думаете, что въ нашихъ „сферахъ“ не знаютъ обо всѣхъ этихъ скандалахъ?

— Ну, этого-то, положимъ, ты опасаться напрасно. Вѣдь ты вель себя во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно; ты и Рускину, и Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепѣ—все продалъ, и всѣ деньги полностью къ татамъ отослалъ. Что же касается до Дроздова, то это, мой другъ, своего рода крестъ. И ты несешь свой крестъ, и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. Въ сферахъ, о которыхъ ты говоришь, это называется: piété filiale.

— Но она? вѣдь и объ ней говорить!

— Она... что жъ такое она! Она—куколка, а ты—примѣрный сынъ! Вотъ и все. Куколка—это даже мило!

Наконецъ, мнѣ кое-какъ удалось-таки утѣшить его, особливо когда я ему растолковалъ, что земли у Бога много, и что ежели онъ будетъ и впредь оправдывать довѣріе начальства, то несомнѣнно современемъ ухватить что нибудь впустѣ лежащее, но совершенно достаточное для основанія новаго Монрепѣ.

— А что вы думаете, дядя? воскликнулъ онъ весело:— вотъ Ворожбецкій-Пѣтухъ, одного выпуска со мной, а ужъ успѣлъ ухватить полторы тысячки чернозѣмцу!

— Ну, вотъ видишь-ли! даже примѣръ есть!

Обѣдъ прошелъ очень пріятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что напоминало бы о разогрѣтости, о томъ, что обитатели дома сего, благодаря Паскѣ, осуждены цѣлую недѣлю питаться ветчиной и телятиной. Я замѣтилъ, что Ѳединьку это очень пріятно поразило и самымъ благотворнымъ образомъ повліяло на его душевное расположеніе. Благодаря этому, я узналъ отъ него два, три чрезвычайныхъ анекдота, мѣстомъ дѣйствія которыхъ былъ салонъ нѣкоторой дѣвицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая годъ тому назадъ вышла замужъ и нынѣ писалась на визитныхъ карточкахъ такъ: графиня Поликсена Кириловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la Noblesse.

— А ты бываешь-таки въ этомъ салонѣ?

— Разумѣется, бываю.

— Ахъ, ахъ, мой другъ!

— Mon oncle! что нибудь одно: или достигать и, стало быть, ѣздить къ маркизѣ Pour la Noblesse, или не ѣздить къ ней и оставаться всю жизнь столоначальникомъ.

— Что правильно, то правильно. Это такъ.

— У нея—салонъ, въ которомъ все бываетъ, tout Petersburg. Она нынче все о событіяхъ послѣдней войны разсуждаетъ. Говорить, напримѣръ, что берлинскій трактатъ ея не удовлетворилъ.

— Ахъ, пакостница!

— Генералами тоже не всѣми довольна: зачѣмъ не взяли Константинополя? И по вопросу о проливахъ, говорить, настоящаго рѣшенія не добились.

— И ты все это выслушиваешь?

— Ея нельзя не слушать, mon oncle. Черезъ нее мой товарищъ Крушинцевъ чуть мѣста не потерялъ.

— Какъ такъ?

— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о проливахъ, слушасть она: все Дарданелль да Дарданелль. Вотъ она отозвала Крушинцева въ сторонку и спрашиваетъ: скажите, кто такой этотъ Дарданелль? А онъ и пошути: преступникъ, говоритъ, государственный; Россія выдачи его требуетъ, а Турція, по наущенію Англій, не выдаетъ. На слѣдующемъ же раутѣ, она, разумѣется, и щегольнула: да скоро ли же, говоритъ, намъ этого господина Дарданелла выдадутъ? Ну, картина... Такъ Крушинцевъ послѣ того двѣ недѣли сряду у нея ручки цѣловалъ!

— Простила?

— Простила, потому что въ это время онъ съ ней всю географію прошелъ.

— Ахъ, пакостница!

— Не говорите такъ, mon oncle; она теперь какъ есть „дама“. Одно только: вмѣсто „шоколада“—по старой привычкѣ „щикалатъ“ говоритъ. И всѣ находятъ, что это очень оригинально.

— Помнишь у Лермонтова:

Бѣмъ мармаладъ,  
Пью щикалатъ...

— Вотъ именно. И около нея чуть не цѣлый штабъ. И архистратигъ отставной ѣсть, и „старый дипломатъ“, и даже публицистъ. Этотъ едва-ли даже не главный. Бельомъ, во всю щеку румянецъ, штаны по послѣдней модѣ сшиты, а самъ отчасти тѣломъ, отчасти консервативными убѣжденіями промышляетъ. А она сидитъ между ними и вдохновляетъ.

— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этихъ раутахъ видалъ?

— Нѣтъ, онъ въ командировкѣ постоянно. Во время войны, въ Плоештахъ ресторанъ содержалъ (она туда съ какимъ-то жидомъ-подрядчикомъ пріѣхала, тамъ его и обрѣла), а теперь, слышно, въ Египетъ, къ хедиву отправился. Одни говорятъ, въ качествѣ chef de cuisine, другіе—министромъ финансовъ. И даже будто бы при поддержкѣ Англии.

— Однако, братъ, это въ родѣ фееріи что-то.

— Ниче и все фееріи, mon oncle. У насъ въ курсѣ нѣкого Харченковъ былъ, никакъ не могъ именованныхъ чиселъ понять, а теперь, гдѣ плохо лежитъ—онъ ужъ и тутъ. Такъ раскидываетъ умомъ, что чудо!

— Неужто тебя эти иллюстраціи не тревожатъ?

— А что-жь мнѣ? Я и съ нимъ... Пообѣдаю, вышю—ничего! Онъ вино прямо отъ Шато-Лафита выписываетъ, такъ и говоритъ: у меня, братъ, съ самимъ Шато-Лафитомъ условіе... Онъ какъ прослышитъ, что у Егарева въ Демидрошкѣ примѣры появились—сейчасъ туда: мадамъ, вуле ну сто рублей... ну, двѣсти... айда! А кромѣ того, у него и кругъ знакомства обширный, всѣхъ тамъ встрѣтишь. Ышь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.

— Слушай! да ты не врешь-ли?

— Не вѣрите? не хотите-ли, я васъ свезу къ нему? Не съ визитомъ, а прямо обѣдать. Онъ будетъ радъ, скажетъ: аншантѣ. А когда вы будете уходить, онъ и напередки пригласить: венѣ, когда вздумается; запросто, анъ скюту-Право, хотите свезу?

— Нѣтъ, что ужъ! старъ я, да и скучно вѣдь шататься по постояннымъ дворамъ.

— Право не скучно. А впрочемъ, мнѣ вообще нигдѣ не скучно; даже въ засѣданіяхъ благотворительныхъ обществъ, и тамъ я интересное нахожу.

— Это гдѣ дамочки-то?

— Разумѣется; кто же бы меня безъ дамочекъ туда заманилъ!

— А не бываетъ тамъ Дарданелловъ?

— Буквально—нѣтъ, но въ родѣ того. Впрочемъ, откровенно вамъ скажу, я въ этомъ отношеніи реалистъ; на Дарданеллы не обращаю вниманія, а больше принимаю въ расчетъ тѣлеса. Руководствуясь этимъ, и дамочекъ раздѣляю на два разряда: на хорошенькихъ и *не* хорошенькихъ. Съ „хорошенькими“, если даже онѣ и не вполнѣ чисто географію знаютъ, мнѣ весело; а съ „*не* хорошенькими“—скучно, хотя бы онѣ самого Ксенофонта въ подлинникѣ прочитали. И нынче всё мы таковы, вси порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такіе, которые будутъ утверждать, что имъ умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки, ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!

— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!

— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вмѣстѣ жить безъ разговора нельзя, но знаю также, что разговоръ выйдетъ непремѣнно неудачный. Стало быть, не для чего и пробовать. Притомъ же, я умные-то разговоры эти знаю.

— Случалось?

— Знаю. Однажды меня *m-me* Голумбецкая (вотъ, дядя, дамочка-то—пальчики оближете!) пригласила: пріѣзжайте, говорить, въ четвергъ вечеромъ, у насъ одинъ знаменитый сербъ объ турецкихъ неистовствахъ рассказывать будетъ. Пріѣхалъ. Въ гостинной серьезно, тихо, чинно; сидитъ братушка на диванѣ и рассказываетъ; слышится: на колъ, на колъ, на колъ; *les messieurs* слушаютъ и зѣваютъ въ руку; дамочки стараются смотрѣть на чтеца и думаютъ: да когда же, наконецъ, „кувыркомъ“ будетъ? И вотъ, въ эти-ти торжественнымъ, но унылымъ минуты я и покорилъ сердце *m-me*... ну, все равно чье бы тамъ пи было.

— Bravo, Оеда! Но возвратимся къ вопросу о женитьбѣ. Еслибъ, наиримѣръ, съ капитальцемъ барышня нашлась... пу, полмилліона, милліонъ?..

— Какъ вамъ сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что вѣдь съ этими капиталистками одно что-нибудь: либо, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, отъ милліона ни пера не останется, либо къ милліону начнутъ другой прикапывать, и тогда пойдутъ дрязги, учеты, подозрѣнія, утаиваніе денегъ у самихъ себя... фуй! Мнѣ, mon oncle, нужно карьеру сдѣлать, и развѣ ужъ тогда, когда все какъ слѣдуетъ обозначится... ну, тогда — быть можетъ...

— Оѣди! знаешь ли ты, что чѣмъ больше я тебя слушаю, тѣмъ больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

— Да, mon oncle, несмотря на мон двадцать четыре года, я знаю женщинъ и могу сказать это съ увѣренностью. Женщина—это изумительное созданіе! Она неоцѣнна какъ пирожное, но какъ pièce de resistance—совсѣмъ не годится. Чувствовать себя навсегда связаннымъ съ женщиной—это одно изъ величайшихъ жизненныхъ неудобствъ. Ежели она зла—то злостью убьетъ, ежели добра—добротой убьетъ. Ежели она невѣжественна—отравитъ жизнь наивностями; ежели начитанна и нѣчто знаетъ—дойметъ умными разговорами. Поэтому, жениться слѣдуетъ только въ такія лѣта, когда ни злость, ни доброта, ни невѣжественность, ни начитанность—ничто ужъ не дѣйствуетъ.

— Оѣдицька! другъ мой! сейчасъ я сказалъ, что ты уменъ, а теперь прибавлю, что ты даже больше, нежели уменъ: ты, такъ сказать, вредоносно уменъ! Вдомекъ ли тебѣ, что ты просто на просто всякое общежитіе упраздняешь? Да. Вѣдь по твоему, счастливо можно прожить только такъ: съ однимъ пообѣдать, съ другимъ выпить, съ третьимъ объ имѣющемъ въ виду мѣстечкѣ побесѣдовать, а съ дамочками—сквернословить и срывать цвѣты наслажденія. И нигдѣ цвѣтъ пріюта, и вездѣ пріютъ есть—вотъ, по твоему, какъ! Удобнѣе этого, право, никакая интерна-

ціоналка не выдумаетъ! Исполать тебѣ, другъ мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и съ нею ты, навѣрное, преуспѣешь. Ничего ищутъ такихъ опричниковъ, которые освободили себя отъ всѣхъ обязательствъ общежитія; ими дорожатъ, имъ однимъ вѣру даютъ. И ежели ты примѣнишь свою программу къ болѣе обширнымъ сферамъ дѣятельности, то успѣху твоему конца краю не будетъ. Дерзай голубчикъ, дерзай!

Единька взглянулъ на меня и, повидимому, изумился.

— Кажется, я васъ огорчилъ, mon oncle? спросилъ онъ не то сконфуженно, не то иронически.

— Ни мало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не симпатична мнѣ. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайныхъ знакомствъ, но вѣдь это во мнѣ застарѣлое, непригодное, такъ сказать дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человѣкъ отсталый, и что мои симпатіи или антипатіи для тебя не могутъ быть обязательными. Ты—*homo novus*, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это кодексъ дѣйствующій, и безъ него можно только прятаться отъ жизни—вотъ какъ я—а не преуспѣвать въ ней, то ты, разумѣется, поступаешь вполне цѣлесообразно, посѣщая рауты маркизы *Comte la Noblesse*, и пользуясь гостеприимствомъ господина Харченкова. Кстати: ты давеча объ хедивѣ египетскомъ говорилъ—тебѣ никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

— Какой странный вопросъ, mon oncle?

— Вопросъ самый интернаціонный и, слѣдовательно, самый подходящий. Переходя изъ трактира въ трактиръ, почему же не зайти и къ хедиву перехватить? Впрочемъ, я очень радъ, что ты нашелъ мой вопросъ страннымъ. Не ѣзди туда, Одея! У насъ свой пирогъ обширный—всѣмъ мѣсто найдется. *La patrie—avant tout*. И еще: *à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère...* помнишь? Орудуй дома, не ѣзди ни къ хедиву, ни къ Донъ-Карлосу, ни



къ Наполеоновой вдовѣ. Христось воскресъ! поцѣлуемся!

Обѣдъ кончился, мы поцѣловались и, обнявшись, направились въ кабинетъ.

Я помнилъ, однакожь, что желалъ видѣть у себя Единьку совсѣмъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу господина Дроздова четырьмя тысячами франковъ и чтобы выслушать два-три сомнительнаго свойства анекдота. Во-первыхъ, я хотѣлъ знать, какъ Единька полагаетъ поступить съ Россіей въ случаѣ производства его въ генеральскій чинъ, и буде намѣренія его окажутся слишкомъ жестокими, то по родственному предостережѣ: во-вторыхъ, меня ужасно интриговало: что такое за комиссія, въ которой онъ до того зарылся съ какимъ-то загадочнымъ Иваномъ Михайлычемъ, что даже для меня, своего дяди, дверь заперъ?

Повторяю: я литераторъ, и потому боюсь. Мысль, что всякая комиссія имѣетъ въ предметъ непременно литературу, и что все остальное, значущееся въ заголовкѣ, служитъ лишь для украшенія этого заголовка, но, въ сущности, представляетъ лишь поводъ для литературной критики—эта мысль совсѣмъ не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мнѣ скажутъ, что каждая комиссія производитъ свой плодъ, осуществляемый въ „Трудахъ“ — вотъ-моль и переплетенные томы „Трудовъ“ на лицо! полюбуйтеся! — но и это не разувѣритъ меня. Мнѣ кажется, что эти „Труды“ суть не болѣе, какъ результатъ усерднаго наклеиванія газетныхъ и другихъ вырѣзокъ на картоны, а что настоящую живую работу комиссіи слѣдуетъ искать совсѣмъ не тутъ, а въ тѣхъ дружескихъ и, повидимому, побочныхъ собесѣдованіяхъ, которыя одни и приносятъ практическій плодъ. Это—собесѣдованія случайныя, безсистемныя, но литература наша такъ болѣзненно чутка, что какъ только запахнетъ въ воздухъ подобными собесѣдованіями, она какъ-то сама собой сожмется, и вдругъ изъ

просто-езоповскаго тона переходить въ сугубо-езоповскій. И ежели вы при этомъ замѣчаете, что московскія кликуши начинаютъ выкликать всѣмъ голосомъ, а петербургскіе трудолюбцы выступаютъ на сцену съ иносказаніями и оправданіями, то это навѣрное, означаетъ, что гдѣ-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...

— Въ какой это ты комиссіи цѣлыхъ три мѣсяца такъ усердно работалъ, что и доступу къ тебѣ не было? спросилъ я.

— Я занимался въ послѣднее время въ трехъ комиссіяхъ, отвѣтилъ Федя:—но одна изъ нихъ бездѣйствуетъ за невозможностью изяснить, въ чемъ заключается предметъ, подлежащій ея разработкѣ; другая тоже бездѣйствуетъ за недоставленіемъ отъ одного изъ корреспондентовъ свѣдѣнія, что разумѣлъ онъ, говоря, что „со времени крестьянской эмансипаціи, отечественное земледѣліе вступило въ знакъ Рака“; и, наконецъ, въ третьей—идеть теперь усиленная работа.

— А въ чемъ же задача этой третьей комиссіи?

— По первоначальному плану, она должна была разрѣшить вопросъ о мѣрахъ, которыя необходимо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія; но съ развитіемъ работъ комиссіи послѣдовали такія неожиданныя осложненія, что въ настоящее время трудно даже опредѣлить, къ какимъ развѣтвленіямъ мы можемъ придти, и которое изъ нихъ окажется болѣе существеннымъ, чтобы сообщить нашимъ трудамъ окончательное направленіе.

— Но вѣдь въ такомъ случаѣ возможно, что и эту комиссію постигнетъ та же участь, какъ и первую?

— Нѣтъ, mon oncle, этого не будетъ. Мы слишкомъ пронибнуты важностью предстоящихъ намъ задачъ, чтобы допустить малѣйшую остановку въ нашихъ изысканіяхъ.

— А ну-ка, признавайся: навѣрное, и объ литературѣ идеть рѣчь?

— Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать, на случай свѣтопреставленія, гимнъ.

— Нѣтъ, я не объ этомъ. Я объ литературѣ... какъ съ ней предполагается поступить?

Однакожь, Оединька, очевидно, почувствовалъ себя неловко при этомъ вопросѣ. Онъ слегка заалѣлся, замялся и, наконецъ, отвѣтилъ:

— Извините меня, дядя, но при настоящемъ положеніи работъ комиссіи, я не могу отвѣтить на вашъ вопросъ.

— Стало быть, что-нибудь да есть?

— И на это ничего не могу вамъ сообщить.

— Знаешь ли, однако, что твоя таинственность просто непристойна. Стряпаешь ты тамъ втихомолку что-то съ какимъ-то Иваномъ Михайлычемъ... Меня - то помилуешь ли?

— Mon oncle!

— Да ты хоть обинякомъ намекни, что такое ты стряпаешь! Ну, лишить-моль... я и пойму!

— Вотъ видите ли, дѣйствительно... Но нѣтъ, клянусь вамъ, голубчикъ-дядя, не могу!

— Слѣдовательно, я такъ и не узнаю?

— Вотъ что, mon oncle. Черезъ двѣ недѣли будетъ докладъ, и тогда наши члены, навѣрное, разболтаютъ... Въ то время, я явлюсь къ вамъ, и охотно сообщу все, что вы пожелаете.

На этомъ разговоръ пресѣлся. Я въ нѣсколько пріемовъ пытался изложить мои мысли насчетъ значенія литературы въ жизненномъ процессѣ страны, а равно и о томъ, какія вредныя послѣдствія можетъ оказать жестокое обращеніе съ нею, но Оединька каждый разъ останавливалъ меня восклицаніемъ: послѣ, mon oncle, послѣ! Двѣ три недѣли—

право, это недолго! Очевидно, онъ опасался, чтобъ я не развратилъ его.

.....  
И такимъ образомъ, день кончился для меня не-  
удачею.

## ПЕРВОЕ МАЯ.

Апрѣль былъ ужасень. Это былъ мѣсяць какой-то неизобразимой паники. Все вдругъ замутилось, заметалось, не вѣрило ни ушамъ, ни глазамъ. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя: homo hominі lupus. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нѣчто невѣроятное, неслыханное. Мало было оцѣпенѣнія, въ которое погрузилось общество; нашлись охочіе люди, которые припомнили свои личные счета и сѣвшили дисконтировать ихъ въ формѣ извѣщеній и угрозъ. Почва колебалась подъ ногами; завтрашній день представлялся загадкою; исчезало всякое мѣрило какъ для оцѣнки поступковъ другихъ лицъ; становилось невозможнымъ или, по крайней мѣрѣ, рискованнымъ презирать завѣдомо зазорныхъ людей. Казалось, нѣтъ уголка, въ которомъ назойливо, не переставая, на всѣ тоны, не звучала одна—вездѣ одна и та же—мысль: что будетъ дальше? Эта бесплодная, безъ содержанія, мысль задерживала всякую дѣятельность, забивала умъ, чувство, волю и вызывала наружу худшіе инстинкты человѣка, отъ малодушія до вѣроломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на днѣ совѣсти что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, какъ за якорь спасенія. И,

въ довершеніе всего, московскія кликуши, отъ внутренняго ликованія, словно сбѣсились.

Въ послѣдніе двадцать, двадцать пять лѣтъ чувство человѣчности сдѣлало несомнѣнные уснѣхи въ обществѣ— это фактъ, который оспорить нельзя. Можетъ быть, оно не имѣеть крупныхъ и высоко-талантливыхъ выразителей, какъ въ сороковыхъ годахъ, но оно разлилось въ массѣ общества, обмірилось, сдѣлалось какъ бы естественной подкладкой общественныхъ порываній и отношеній. Забылось или почти забылось крѣпостное право (внѣшнія его формы даже возстановить дѣлается съ каждымъ годомъ труднѣе и труднѣе), стали забываться велейный судъ и патриархально-кулачная полицейская расправа, начали проявляться пощытки самодѣятельности; однимъ словомъ, періодъ одичанія казался близкимъ къ концу. И вдругъ, это самое чувство человѣчности, о которомъ думалось, что оно сдѣлалось уже лозунгомъ жизни, является преступленіемъ. Не человѣчность нужна, а ненависть! оскаливая зубы, печатно вопіють доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукавицъ... Какое время!

Само собой разумѣется, что среди этой суматохи я всего менѣе могъ разсчитывать на свиданіе съ Ѳединькой. Правда, что я не разъ видѣлъ, какъ онъ мелькалъ въ паемной коляскѣ по Невскому, но лицо его смотрѣло такъ озабоченно, что, конечно, я и претендовать не могъ, чтобъ онъ замѣтилъ меня. Однакожь, однажды какъ-то случайно онъ остановилъ на мнѣ свой взоръ, и въ то же время, какъ я посылаю ему навстрѣчу воздушный поцѣлуй, онъ поднялъ правую руку и показалъ мнѣ всѣ пять перстовъ. Тогда я не выдержалъ и махнулъ ему, чтобъ остановился.

— Кромѣ прежнихъ трехъ, еще въ пяти! воскликнулъ онъ съ торжествомъ, когда я подошелъ къ экипажу.

Конечно, я недоумѣвалъ.

— Въ пяти... комиссіяхъ! пояснилъ онъ и при этомъ указалъ рукой на горло:—вотъ дескать гдѣ оно у меня сидитъ!

— А когда же ко мнѣ?

— Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Однимъ словомъ—вотъ!

Онъ опять указалъ на горло, и вдругъ совсѣмъ неожиданно выпалилъ:

— А литература-то ваша... какова! а?

И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь землю.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи я мучился. Самъ по себѣ, Оединька, конечно, не Богъ знаетъ какая птица, но онъ—эхо, онъ—*riche assiette* внутренней политики; это несомнѣнно. Что такое онъ сказалъ? кажется, про литературу упомянулъ... да! Что такое случилось! отъ кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнилъ „разбойниковъ печати“ и „мошенниковъ пера“, вспомнилъ не потому, чтобы эти выраженія, въ минуту ихъ появленія, произвели на меня впечатлѣніе, а потому что все кругомъ располагало къ подобнымъ воспоминаніямъ. Въ свое время, эти потуги заклеить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь хоть завѣдомо клеветническимъ, но хлесткимъ словомъ, казались мнѣ просто безсильными и ничтожными, но теперь, въ эти тяжелыя минуты, выросли и онѣ.

Я понимаю, впрочемъ, что услыхъ, полученный вѣкогда изобрѣтениемъ „нигилизма“ (римскій нападъ—и тотъ прельстился этимъ словомъ, и въ одной изъ энцикликъ, въ числѣ прочихъ отщепенцевъ римской церкви, поименовалъ и „нигилистовъ“), не даетъ спать нашимъ этимологамъ-блюстителемъ литературной пещности. Хочется и имъ

нѣчто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что умерщвляло бы мгновенно, безъ объясненій, что всюду распространяло бы ненависть и подозрѣніе, и только ихъ однихъ, злопыхательныхъ этимологовъ, утѣшало и убожало. Хочется... и ничего не выходитъ. Почему не выходитъ? А потому, милостивые государи, что у васъ въ запасѣ есть только безконечная злоба, а нѣтъ ни пониманія требованій публики, къ которой вы обращаетесь, ни талантливости въ дѣлѣ изобрѣтенія выдумокъ.

„Нигилизмъ“ былъ своего рода откровеніемъ. Во-первыхъ, эта кличка привлекла всѣ сердца своей краткостью, а во-вторыхъ, она дала возможность людямъ толпы сваливать въ одну кучу все лично для нихъ непріятное, тревожащее, несоотвѣтствующее ихъ личному темпераменту и т. д. Видя попытку критически отнестись къ дѣйствительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли имъ, или попробовать отразить. И вотъ, въ эти минуты сомнѣнія, когда ужъ чуть было они не рѣшились „примкнуть“, явился на выручку „нигилизмъ“. И коротко, и даже почти ясно. „Nihil“—вѣдь это, кажется, „ничто?“—ну, такъ и есть! Возьми „ничто“, посѣй на немъ „ничто“,—конечно, выйдетъ „ничто“. Прекрасно... вотъ это прекрасно! Съ тѣхъ поръ, эти господа успокоились и на всякій болѣе или менѣе тревожнаго свойства запросъ отвѣчали заранѣе намѣченнымъ рѣшеніемъ: э, батюшка, это все нигилизмъ!

Словомъ сказать, „нигилизмъ“—это тоже самое, что нѣкогда и столь же удачно клеймилось кличками: „фармазонъ“ и „вольтеріанецъ“. Мы, потомки, конечно, смѣемся надъ этими кличками, но очень можетъ статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались ad hominem: а нутка, имярекъ фармазонъ! отвѣтствуй!

Сравните съ этими не вполне осмысленными, но все-



таки хлесткими (талантливость, впрочем, ничего другого и дать не может) кличками каких-нибудь „разбойниковъ пера“ или „мошенниковъ печати“—какая неизмѣримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и, что важнѣе всего, не отвѣчаетъ никакой потребности. Никому не надобны эти выраженія, никто не понимаетъ, для чего они явились, и стало быть никто не будетъ ихъ и употреблять. Ни римскій папа не украситъ ими будущихъ энцикликъ, ни иностранная печать не упомянетъ о возникновеніи въ Россіи новой вредной секты подъ названіемъ „les gazboiniki petchati“. Ни консерваторы, ни профессора, ни предводители дворянства, ни столоначальники—никто. Развѣ что вотъ особый случай какой-нибудь выйдетъ...

„Случай“—вотъ это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна сдѣлалась за послѣднее время русская жизнь этими „случаями“! И все какъ-то литературу они задѣваютъ. Идетъ себѣ литература обычнымъ скромнымъ ходомъ, убѣжденная, что для всякаго ясно, что процессъ литературнаго мышленія представляетъ нѣкоторыя особенности, отличныя отъ процесса мышленія канцелярскаго служителя, а изъ-за угла ее стережетъ „случай“. Она наивно думаетъ, что ничто человѣческое ей не чуждо, что всѣ явленія вещественнаго и духовнаго міра обязательно подлежатъ ея изслѣдованію—и вдругъ врывается нѣчто непредвидѣнное и съ злобною ироніей шипитъ: я именно и есть тотъ самый „случай“... Наконецъ, она позволяетъ себѣ мечтать, что даже ошибки и заблужденія не могутъ быть, безъ явной несправедливости, вмѣняемы ей въ вину, потому что онѣ представляютъ собой составную часть ея изысканій—какъ бы не такъ! приходитъ „случай“ и изрекаетъ: блуждать и заблуждаться не разрѣшается...

Такъ вотъ въ такія-то минуты, когда человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ „случаемъ“, и припоминаются всѣ эти „разбойники печати“ и „мошенники пера“. И при воспо-

минаніяхъ этихъ становится жутко, потому что приходится убѣдиться, что дѣйствительно въ печати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что, стало быть, литература—не совсѣмъ тотъ храмъ, при видѣ котораго бьются чистыя и честныя сердца и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ...

.....  
Фединька явился ко мнѣ совсѣмъ неожиданно—1 мая. Онъ воспользовался тѣмъ, что въ этотъ день комиссіи отпавились гулять въ Екатерингофъ, и вспомнилъ обо мнѣ.

— Вотъ и я! весело сказалъ онъ, входя ко мнѣ въ кабинетъ:—но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, больше чѣмъ когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

— Гм... стало быть...

— Да; но я думаю, что найдется, однакожъ, почва, на которой мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общихъ вопросовъ—не такъ ли, mon oncle?

— Изволь, мой другъ. Мы будемъ ставить вопросы, станемъ обсуждать ихъ независимо отъ условій времени и мѣста, и затѣмъ...

— Затѣмъ, если вы найдете нужнымъ вывести интересующія васъ критическія заключенія, то, въ виду высказанныхъ общихъ соображеній, это не представитъ для васъ особеннаго труда, и не прибѣгая къ моему содѣйствію.

Въ эту минуту Фединька былъ очень хорошъ. Придумавши эту комбинацію, онъ, я увѣренъ, мнилъ себя Тайлераномъ, которому ничего не будетъ стоить и вопросъ о проливахъ разрѣшить, а, ежели потребуется, то и туркину жизнь прекратить.

— И такъ, прежде всего, поставимъ вопросъ о литературѣ, началъ я: — какъ, по твоему мнѣнію, украшаетъ она, или не украшаетъ?

— Гм.. это смотря потому...

— Стало быть, ты сомнѣваешься. Или, собственно говоря, тебѣ очень хотѣлось бы отвѣтить: нѣтъ, не украшаетъ, но совѣстно. Не потому совѣстно, что ты припоминаешь басню „Сочинитель и Разбойникъ“, которая самымъ существованіемъ своимъ доказываетъ, что заслугъ литературы опспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебѣ носу никуда показать будетъ нельзя. Даже дамочки отвернутся отъ тебя, ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не объ лишеніи правъ состоянія, а объ Дюма-фисѣ, о Белло, о Монтененѣ, то есть все-таки объ литературѣ. Вотъ почему ты заикаешься и говоришь: смотря потому... Я же говорю, не заикаясь и безъ оговорокъ: да, литература украшаетъ. Она украшаетъ, потому что служить воплощеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ страны, и ежели ея нѣтъ, то это значитъ, что духовныя силы находятся въ отсутствіи или лежатъ глубоко подъ спудомъ. Общество, не имѣющее литературы, не сознаетъ себя обществомъ, а только безпорядочнымъ сбродомъ индивидуумовъ; страна, лишенная литературы, стоитъ впрѣ общей мировой связи и привлекаетъ любопытство лишь въ качествѣ диковины; объ государствѣ и говорить нечего: оно не мыслимо безъ литературы уже потому одному, что самымъ происхожденіемъ своимъ обязано литературѣ. Вотъ у вотяковъ нѣтъ ни письменъ, ни сказаній, ни даже нѣсенъ, есть только преданіе, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съѣла, но именно потому то въ этомъ племени такъ мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть можетъ, съѣдается преданіемъ. Какимъ же образомъ общество, страна, государство могутъ призывать къ своему суду литературу, когда они всѣмъ ей обязаны, кругомъ ею облагодѣтельствованы?

— Но вѣдь никто и не отрицаетъ, топ onele, что ли-

тература одна изъ необходимыхъ функцій общественнаго и государственнаго организма...

— Не „одна изъ функцій“, а главная и единая, заключающая въ себѣ неоскудѣвающей источникъ жизни. Все, что ты ни видишь кругомъ, все, чѣмъ ты пользуешься — все это дала тебѣ литература. Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь—все, все идетъ отсюда. Еслибъ не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположимъ, что это исторія давнишняя, прослѣдить которую трудно; но даже и помимо будничныхъ удобствъ, принимаемыхъ безсознательно, просто какъ свершившійся фактъ—даже помимо ихъ, всѣ удобства, наслажденія и утѣшенія высшаго разряда, все, чего требуетъ пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства—все это опять-таки идетъ отсюда, а не изъ циркуляровъ и предписаній, какъ бы послѣдніе ни были въ своей сферѣ полезными. Всѣ знанія, которыми ты обладаешь, даны тебѣ литературой; всѣ понятія, сужденія, правила, все, чѣмъ ты руководишься въ жизни, все выработано ею. Даже понятіе о благонамѣренности литературы—и то ты почерпалъ изъ нея, а никакъ не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, безъ литературы ты ходилъ бы на четверенькахъ и лакалъ бы болотную воду. Какъ это ни странно покажется для тебя, но безъ литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусствъ вообще, потому что она все разложила, и свѣтъ и звукъ, и она же все сочетала. Не будь того свѣточа, который она всюду приносить съ собой, и звуки, и краски, и линіи — все было бы смѣшеніе, хаосъ. Даже

техника искусствъ — и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство само по себѣ нѣмо и разъединенно, одна литература имѣетъ привиллегію „гласить во всѣ концы“, она одна имѣетъ даръ всѣхъ соединять подъ сѣнью своею, всѣмъ давать возможность вкусить отъ сладостей общенія.

Я остановился, потому что Оединька смотрѣлъ на меня во всѣ глаза и какъ-то блаженно улыбался.

— Ah! mon oncle! воскликнулъ онъ:—vous avez un style... клянусь, я заслушался!

Замѣчаніе это слегка смутило меня—въ самомъ дѣлѣ, я, кажется, черезчуръ что-то распѣлся!—но такъ какъ рѣчь была ужъ заведена, то прерывать ее я уже не считъ полезеннмъ.

— Ну, какой есть, не взмщи! сказаъ я: — и будемъ продолжать. Стало быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты съ восхищеніемъ созерцаешь — все это дала тебѣ литература. Мало того: она дала тебѣ возможность различать добро отъ зла, она выработала для тебя условія общежитія, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто повѣдалъ тебѣ:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ..

Откуда ты узналъ:

О Россѣ! о родѣ непобѣдимый!

О твердокаменная грудь!

Все оттуда же, изъ этой посылкой литературы, которая всякую потребность предусмотрѣла и на всякую отвѣтъ дала. Все тамъ сказано, все запечатлѣно навсегда, дабы снять покровы съ твоей умственной дремоты и дать тебѣ возможность умилиться духомъ и обратиться къ своей совѣсти! О, Оеда! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вѣчную признательность, вѣчное удивленіе и устранить всякую мысль о жестокомъ обращеніи?

— Но развѣ кто нибудь спорить...

— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствіе въ обществѣ „дамочки“, кокетки и т. д. Эту кокетку—кто тебѣ приподнесъ? эту „дамочку“—кто тебѣ сформировалъ? Кто воззвалъ отъ ничтожества Дюма-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказалъ имъ, указывая на тебя: вотъ малый, который безъ „дамочки“ не будетъ знать, какъ съ собой поступить—имѣйте это въ виду на предметъ зависящаго съ вашей стороны распоряженія? Предположимъ, что это услуга не особенно цѣнная, но не будь ея, ты бѣгалъ бы за какой нибудь хавропейей и тѣ пакости, которыя ты теперь объясняешь такимъ изящнымъ французскимъ языкомъ, ты выражалъ бы простымъ хрюканьемъ. Ужели и это не заслуживаетъ твоей признательности?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фокусъ тѣ услуги (последнюю я, конечно, принимаю, какъ шутку), которыя оказывала и продолжаетъ оказывать литература обществу. Но вы упустили изъ вида одно обстоятельство, которое, съ точки зрѣнія государственности, имѣетъ, однакожь, несомнѣнно важное значеніе. Вы не упомянули о заблужденіяхъ. Найдете ли вы возможность утверждать, что литература—не всегда, конечно, но очень, очень-таки не рѣдко—не служитъ проводникомъ заблужденій въ обществѣ?

— На это, прежде всего, повторяю тебѣ, что литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и исправляетъ ихъ. Но кромѣ того, она и потому не можетъ относиться къ заблужденіямъ съ желаемой щепетильностью, что они, такъ сказать, составляютъ подготовительный процессъ той работы, въ результатъ которой оказывается истина. Истина—не кладъ, случайно найденный въ полѣ, и не болиды, падающій съ неба совсѣмъ

готовымъ; она дается ищущему цѣною величайшихъ жертвъ и усилій, *цѣною заблужденій*. Кто не искалъ истины, тотъ, конечно, не заблуждался. Исторія всѣхъ величайшихъ открытій и изобрѣтеній засвидѣтельствуетъ это. Ты скажешь, быть можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблужденій, въ результатѣ которыхъ явились: типографскій станокъ, желѣзная дорога, сила пара и т. д., а протестуютъ-дескать противъ заблужденій изъ міра мечтательнаго, идеальнаго, бесплодно волнующихъ общество и не приносящихъ никакихъ обязательныхъ улучшеній. Но первая половина этого возраженія положительно несправедлива: ни одно великое открытіе не явилось въ міръ безъ протеста, безъ насмѣшекъ, безъ злорадства. Что же касается до заблужденій второго рода, то ты имѣлъ бы основаніе тогда только указывать на нихъ, еслибъ была какая-нибудь возможность дверь въ область идеальныхъ интересовъ представить себѣ запертою. Но природа сама держитъ ее открытою, сама внушаетъ человѣку одинаковую склонность какъ къ материальнымъ, такъ и къ духовнымъ интересамъ — слѣдовательно, можетъ ли литература, безъ насилія, безъ бунта, разгородить эти двѣ области? Да вѣдь и тутъ, въ этомъ идеальномъ мірѣ, не все же безплодіе, не все же броженіе и смута; бывають и такіе осязательные результаты, которые на цѣлѣе вѣка даютъ исторіи человѣчества другой характеръ. Вотъ наприимѣръ, ты охотно признаешь современные формы общежитія, стоишь за нихъ горой и вообще не навхвалишься ими, но развѣ онѣ не считались въ свое время заблужденіями? развѣ ты былъ бы коллежскимъ совѣтникомъ на зарѣ твоей жизни, если бы не существовало до тебя людей, которые, цѣною горчайшихъ испытаній, очистили путь для табели о рангахъ? Ахъ, другъ мой, другъ мой! трудно вѣдь жить безъ интересовъ идеальнаго міра, такъ трудно, что, за недостаткомъ настоящаго свѣта, человѣкъ

хоть сальную свѣчку засвѣтить и поставить передъ собой!

— Ахъ, дядя, вы не поняли меня, я совѣмъ не о томъ! Еслибъ заблужденія, о которыхъ вы говорите, оставались въ нѣдрахъ литературы — *à la bonne heure!* Но вѣдь они изъ литературы переходятъ въ общество, волнуютъ его, поражаютъ несвоевременныя и неумѣстныя требованія—вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаетъ о насильственномъ прекращеніи вопросовъ идеальнаго міра; настаиваютъ только на постепенной и своевременной постановкѣ ихъ.

— Ну, и пускай настаиваютъ; но не на литературу же, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ возлагать полицейскій надзоръ за тѣми послѣдствіями, которыя могутъ имѣть добываемые ею выводы. Литература преслѣдуетъ задачи, которыя она считаетъ себя въ правѣ признавать своими, и затѣмъ она совершенно игнорируетъ, что изъ достигнутыхъ ею результатовъ будетъ взято обществомъ и что — отвергнуто. И ежели общество прегрѣшаетъ противъ своевременности, то это дѣло установленныхъ властей, а не литературы, которыя тутъ ни причемъ. Да и вообще, на мой взглядъ, эта пресловутая „своевременность“ — даже совѣмъ не литературный терминъ, а канцелярскій, потому что, если литературѣ поставить въ обязанность опредѣлять его, согласно съ жизненными условіями, то, при разнообразіи и измѣнчивости этихъ условій, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на одни эти опредѣленія. И ты останешься безъ новаго покроя брюкъ, безъ кулинарныхъ усовершенствованій и безъ новаго фасона кокотокъ.

Я замолчалъ. Все, до сихъ поръ высказанное мною о правѣ литературы на неприкосновенность, казалось мнѣ до такой степени яснымъ, что, признаюсь, мнѣ даже непріятно было бы въ эту минуту услышать какое-нибудь возраженіе изъ сферы пресѣченія и предупрежденія.



Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, похвальнѣе, дороже образа, представляемаго литературой; я признаю литературу всецѣло со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами. Порою эти осложненія бывають мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растають, и, навѣрное, одни только усилія честной мысли останутся незабываемыми — таково мое глубокое убѣжденіе. Не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь — мнѣ было бы больно жить. Я такъ сжился съ представленіемъ, что литература есть то единственное, заповѣдное убѣжище, гдѣ мысль человѣческая имѣетъ всю возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое вторженіе въ эту сферу, всякая тѣнь подозрѣнія, накидываемая на нее, кажутся мнѣ жестокими и ничѣмъ не оправдываемыми. Лично, я обязанъ литературѣ лучшими минутами моей жизни, всѣми сладкими волненіями ея, всѣми утѣшеніями; но я увѣренъ, что не я одинъ, лично обязанный, а и всякій, кто сознаетъ себя человѣкомъ, не можетъ не понимать, что внѣ литературы нѣтъ ни блага, ни наслажденія, ни даже самой жизни. Оединька хотъ и не признаетъ этого, но внутренне очень хорошо понимаетъ, что настоящія радости ему доставляетъ Дюма фись, а совсѣмъ не доклады о лишеніи правъ состоянія. Даже комиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія — и та признала эту истину. такъ какъ прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ — кто же знаетъ? — быть можетъ, и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено...

Повидимому, Оединька замѣтилъ охватившее меня волненіе, и тоже молчалъ. Это было съ его стороны очень деликатно. Да и вообще онъ — малый не страшный. По-

куда онъ засѣдаетъ въ комиссіяхъ, дѣйствительно онъ какъ будто неистовъ, но въ частныхъ сношеніяхъ даже пріятель.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя, наконецъ произнесъ онъ: — и потому не беру съ даже возражать. Но позвольте мнѣ указать на одно неудобство въ нашей бесѣдѣ: вы слишкомъ абстрактно разсматриваете вопросъ — каюсь, я самъ предложилъ вамъ этотъ методъ — тогда какъ въ дѣйствительности онъ стоитъ гораздо проще. Тѣ отзывы о литературѣ, которые васъ интересуютъ, всебѣмъ не имѣютъ въ виду Галилеевъ, Байроновъ, Шиллеровъ и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не мировыми вопросами, а самою обыкповенною злобою дня.

— Но вѣдь тутъ разница только въ размѣрахъ. Положимъ, что современная русская литература не особенно высоко стоитъ; но во первыхъ, это еще вопросъ, отчего уровень ея такъ невысокъ, а во вторыхъ, какъ бы ни была наша литература мало плодотворна, все-таки она на цѣлую голову выше всего остального.

— Это ваше мнѣніе, mon oncle, мнѣніе очень понятное, потому что вы всецѣло принадлежите литературѣ. Но существуютъ люди, и притомъ компетентные, которые смотрятъ на подобныя мнѣнія, какъ на преувеличеніе. Литература наша еще не достигла возмужалости; она не достаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже существованіемъ своимъ она обязана воздѣйствію: Pierre le Grand, вмѣстѣ съ суконными фабриками, пасадиля и ее. Конечно, онъ поступилъ мудро, но это не мѣшаетъ нашей литературѣ быть молодою и увлекаться не дѣйствительными потребностями времени и мѣста, но просто эффектностью заимствованныхъ положеній и восприимчивостью своего молодого темперамента. Вотъ эта — то склонность къ увлеченіямъ — не преднамѣренная, это я

вамъ охотно уступаю — и наводитъ на мысль о необходимости руководительныхъ началъ.

— Руководительныхъ началъ... въ какомъ смыслѣ? Въ томъ ли, чтобы помочь литературѣ сдѣлаться оригинальною, серьезною и самостоятельною... или наоборотъ?

— Ахъ, mon oncle! Конечно... Разумѣется, современемъ все это придетъ... Но съ другой стороны, все это можетъ быть прочнымъ лишь тогда, когда придетъ вооруженное опытомъ, очищенное отъ увлеченій и преувеличеній... И тогда...

— И тогда, и всегда, и нынѣ, и во вѣки вѣковъ. Всегда будутъ предостерегать отъ преувеличеній и указывать на вотяцкую мудрость, какъ на идеаль. Я ужъ говорилъ тебѣ, что у вотяковъ даже пѣсенъ нѣтъ. Пѣсенъ нѣтъ, а пѣть между тѣмъ хочется. Вотъ идетъ вотякъ, видитъ заборъ — поетъ: заборъ! заборъ! пока не увидитъ поля; тогда начинается пѣть: поле! поле! и такъ безъ конца, смотря по тому, что встрѣтится. Вотъ это-то и есть свободная отъ преувеличеній, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни впередъ, ни назадъ, ни по сторонамъ, а воспѣвай тѣ предметы, которые встрѣчаются на пути. Что - жь! это отлично!

— И это, mon oncle — опять-таки преувеличение. Напротивъ, всѣ охотно допускаютъ, что литература должна играть очень серьезную роль, что она можетъ даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодѣйствіе. Вотъ что необходимо различать.

— То есть, диэирамбы писать?

— Ахъ, mon oncle!

Очевидно, это былъ порочный кругъ. И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна „извѣстная“ самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть опять-таки нужна „извѣстная“ критика! Словомъ сказать: подай то, невѣдомо что, иди туда, невѣдомо куда. И при

этомъ еще говорятъ: нѣтъ, вы отлично знаете и куда идти, и что подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положимъ, что Оединька не особенно искусный дѣлектикъ, по онъ вездѣ бываетъ, слышитъ всякіе разговоры—что нибудъ да и прилишаетъ къ нему. Ежели онъ выражается обрывками, то это значить, что и разговоры, которые онъ слушаетъ, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудѣть по цѣлымъ часамъ, и все-таки въ ихъ гудѣніи ничего не уловишь, кромѣ обрывковъ. Вотъ къ этимъ-то гудѣньямъ и прислушивается Оединька, и подражаетъ имъ. Передъ нимъ не церемонятся, выкладываютъ все впусѣ лежащее, потому что онъ — „адептъ“. И онъ усердно подбираетъ это впусѣ лежащее, ибо знаетъ, что и ему современемъ надо будетъ гудѣть. Всѣ будутъ гудѣть: и онъ, и его сверстники и соратники въ дѣлѣ составленія карьеръ, и кто кого перегудитъ, тотъ и воспрославится.

Въ виду всего этого, я понялъ, что-на почвѣ слишкомъ широкихъ обобщеній намъ оставаться нельзя. Оединька слишкомъ конкретенъ, слишкомъ канцелярски мудръ, чтобъ идти дальше непосредственныхъ результатовъ и чувствовать какую-либо иную потребность, кромѣ потребности мѣропріятій. Поэтому, хотя онъ и предунредилъ меня въ началѣ бесѣды, что не будетъ касаться злобы дня, но я все-таки рѣшился попытаться хоть въ этомъ направленіи получить какія-нибудъ разъясненія.

— Прекрасно, пусть будетъ по твоему, сказалъ я.— Стало быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!

При этомъ слишкомъ прямомъ обращеніи, мой собесѣдникъ чуть-чуть покраснѣлъ, такъ что я, предвидя, что онъ непременно воспользуется случаемъ, чтобъ поломаться передо мной, поспѣшилъ поправиться.

— То есть, не обвиняй отъ себя лично—я знаю, что

ты не способенъ на это — но формулируй тѣ обвиненія, которыя, по твоему наблюденію, наиболѣе въ ходу, объяснилъ я.

Өединька съ минуту помолчалъ и затѣмъ, совершенно для меня неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задвленнымъ голосомъ произнесъ:

— Дядя! позвольте узнать, зачѣмъ ваша литература съ такимъ упорствомъ ищетъ осмѣять и подорвать священнѣйшія основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданнаго не представлялъ, но тому феномену, который, въ какую-нибудь минуту, совершился въ моихъ глазахъ. Лицо этого юноши, за минуту передъ тѣмъ бладушное и даже простоватое, внезапно позеленѣло и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выраженіе; губы побѣлѣли и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ способномъ молодомъ человѣкѣ готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлобленіями.

— Христось съ тобой! что ты! воскликнулъ я, нѣсколько озадаченный.

— Нѣтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература нападаетъ на коренныя основы нашей жизни? кто далъ ей это полномочіе? Кто разрѣшилъ ей въ такомъ видѣ представлять семью, собственность... государство?

— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?

— Въ гнусномъ-съ. Повторяю, кто далъ ей полномочіе судить и рядить?

— Послушай! я только-что сейчасъ доказывалъ тебѣ, что литература отъ самого Господа Бога снабжена всѣми возможными полномочіями... Однако-жь, такъ какъ ты настойчиво возвращаешься къ этой темѣ, и при этомъ, очевидно, имѣешь въ виду *современную* русскую литературу,

то изволь, будемъ бесѣдовать. Ты ставишь вопросъ прямо: современная русская литература подрываетъ основы, на которыхъ держится общество... Подумай, однако-жь, нѣтъ ли тутъ смѣшенія? Не приписываешь ли ты литературѣ то, что принадлежитъ самому обществу, или, по крайней мѣрѣ, той его части, которой специально присвоивается это названіе? Я, съ своей стороны, убѣжденъ, что литература наша нетолько ничего не выдумываетъ въ этомъ случаѣ, но, довольствуясь однимъ констатированіемъ фактовъ, стоитъ далеко ниже дѣйствительности. Ужели литература разожгла аппетиты Юханцевыхъ, Ландсберговъ, Ковальчуковыхъ? ужели она породила эти легіоны сорванцовъ, у которыхъ на языкѣ „государство“, а въ мысляхъ пирогъ съ казенной начинкой? Увѣрю тебя, не литература произвела эти явленія. Аппетиты разожглись сами собой, вслѣдствіе налива цѣлой массы праздныхъ людей, оставшихся за бортомъ съ упраздненіемъ крѣпостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта, но развѣ была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! вѣдь требовать отъ литературы подобнаго нелѣпаго воздержанія значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотахъ о пошехонцахъ. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цѣпляется за извѣстные факты, что она *предвидитъ* тѣ волненія, которыя она должна произвести въ обществѣ, что эти волненія ей правятся, однимъ словомъ, что не будь вмѣшательства литературы, не существовало бы ни вопросовъ, ни волненій. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь подобныя убѣжденія: они слошъ и рядомъ высказываются и въ самой литературѣ тѣми литературными золотарями, которыхъ цѣллыя массы въ послѣднее время загромождали ее. Но все это — ложь и наглая клевета, и литература, выставляя на позоръ факты, которые такъ тебя поражаютъ, нетолько не подрываетъ подрытаго, но, напротивъ, пробуждаетъ общественную со-

вѣсть. Правда, что общество наше — лицемѣрно, и по-смѣивается надъ основами „потихоньку“, но развѣ лицемѣріе когда-либо и гдѣ бы то ни было представляло силу, достаточную для существованія общества? Развѣ лицемѣріе — не гной, не язва, не гангрена? Вотъ этого-то „права лицемѣрить“ литература и не признаетъ за обществомъ. Она говоритъ ему: или держись крѣпко унаслѣдованныхъ принциповъ, или кайся! По моему, такія обличенія имѣютъ скорѣе характеръ охранительный, нежели разрушительный, и ежели я и самъ, по временамъ, сѣтую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смѣлость и настойчивость ея обличеній, а, напротивъ, за то, что она робка, неустойчива и совѣзмъ-совѣзмъ невліятельна. Помилуй! одинъ езоповскій языкъ чего стоить! Подумай, какъ это трудно, изнурительно, почти погано! Въ состояніи ли ты оцѣнить это?

— Могу, но признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ наше время только и утѣшаешься, когда видишь, какъ наша милая литература извивается, словно вьюнъ на сковородѣ. Однакожъ, я готовъ бы былъ сдѣлать вамъ извѣстныя уступки, еслибъ дѣло шло только о логикѣ идей. Но есть логика фактовъ, *mon oncle*, и она-то заставляетъ меня быть осмотрительнымъ. Передъ фактами я вѣмѣю, прихожу въ ужасъ и забываю объ идеяхъ. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя въ состояніи опровергнуть ее, но въ то же время я *чувствую*, что въ ней чего-то недостаетъ, что она не вполне искренна и нѣчто скрываетъ. Вѣдь скрываетъ — не такъ ли, *mon oncle*?

Онъ такъ добродушно заглянулъ мнѣ при этомъ въ лицо и такъ мило похлопалъ меня по колѣнкѣ, что мнѣ и самому невольно подумалось: а что, вѣдь, можетъ быть, и скрываетъ?

— Можетъ быть, можетъ быть, другъ мой, отвѣтилъ я:—вѣдь всего не сообразишь. Во всякомъ случаѣ, для

меня ясно, что, несмотря на продолжительную бесѣду, мы оба остаемся при своихъ показаніяхъ. Что бы я ни говорилъ, ты охотно будешь признавать справедливость моихъ доводовъ, но будешь „чувствовать“, что въ нихъ чего-то недостаетъ... Отлично. Стало быть, обвиненіе первое—колебаніе основъ—остается неопровергнутымъ, но и недоказаннымъ. Дальше?

— Дальше, mon oncle, направленіе и подборъ статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листокъ—и вы убѣдитесь, что все, отъ первой строки до послѣдней, твердитъ объ одномъ, смотреть въ одну точку.

— А тебѣ бы хотѣлось литературнаго косоглазія?

— Mon oncle! не будемъ увлекаться въ сторону, и веротимся къ „направленію“. Я сказалъ уже вамъ, что разумѣю подъ этимъ подборъ статей. Зачѣмъ эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемаго публикѣ чтенія? Почему бы рядомъ со статьей, трактующей объ явленіяхъ неутѣшительныхъ (я сама соглашаюсь, что въ жизни нашей не все утѣшительно), не помѣстить другой, которая предвѣщала бы скорый и вождѣльный конецъ этой неутѣшительности? зачѣмъ забивать мысль читателя все будничными да будничными представленіями, а не освѣжать ее бесѣдою о предметахъ возвышенныхъ, вызывающихъ жареніе? зачѣмъ пригибать человѣка все къ землѣ да къ землѣ—вѣдь у него есть небо, mon oncle!

— Зачѣмъ? да просто за тѣмъ, что у всякаго времени есть своя задача и свои способы для выраженія этой задачи. Это не въ одной литературѣ выражается, а и въ распоряженіяхъ администраціи. И въ нихъ ты замѣтишь „подборъ“, и замѣчательное однообразіе „направленія“.

— Да, но со стороны администраціи это печальная необходимость, а со стороны литературы—это система, это предвзятый образъ дѣйствія. Литература не имѣетъ права такъ поступать. Ея обязанность—умиротворять, а не раз-



дражать. Повторяю: у человѣка есть небо, mon oncle! и это небо—литература вапа закрыла его отъ него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынѣшнему строгому времени, поютъ не въ боскетахъ, а въ трактирахъ, да и розы пахнутъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ пахли прежде...

— Это—не отвѣтъ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо—все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обоняемъ, и всѣмъ наслаждаемся. Только вотъ литературѣ нашей угодно игнорировать эти возвышающія духъ картины и замѣнять ихъ холоднымъ перечисленіемъ извѣ. Какъ хотите, а это—заговоръ!

— Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ законѣ присвоивается названіе преступленія, а тотъ, который испоконъ вѣковъ разлитъ въ воздухъ и едва ли когда-нибудь прекращался. Это—заговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе не одна литература, а все и вся. Значить, извы на столько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, ни срока; значить, не только писать, но и думать ни объ чемъ иномъ нельзя; значить, доколѣ будутъ существовать извы, доколѣ будетъ идти и рѣчь объ нихъ. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нѣтъ заговорничковъ? что ты и твои сверстники, люди несомнѣнно надежные, укрывшись въ одномъ изъ этихъ пріютовъ, только ѣдите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, другъ мой! Ручаюсь, что не проходитъ и десяти минутъ твоей жизни безъ того, чтобъ ты не почувствовалъ себя неловко, и совсѣмъ не потому, чтобы ты вспомнилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно потому, что даже тамъ, среди расторопныхъ официантовъ-татаръ, въ виду улыбающагося соммелье, тебя все-таки пастигаютъ извы. Стало быть, и вы участвуете въ заговорѣ, участвуете тѣмъ, что помпшляете и бесѣдуете о предметѣ его. Вамъ непріятенъ этотъ предметъ, вы желаете отогнать его отъ себя, а онъ—тутъ,

при васъ, онъ неотступно идетъ слѣдомъ за каждымъ шагомъ вашимъ. Но если онъ не оставляетъ въ покоѣ никого, какъ же ты хочешь, чтобы отъ него отвернулась литература, для которой изслѣдованіе явленій жизни составляетъ *conditio sine qua non* существованія? Ты скажешь, конечно, что бывали же и въ русской литературѣ и розы и соловьи... бывали, мой ангелъ, все въ свое время было! Но теперь ты не найдешь двухъ литераторовъ, которые рѣшились бы бесѣдовать о розахъ и соловьяхъ, и даже тѣ, которые когда-то считались мастерами въ этомъ родѣ—и тѣ нынѣ пускаютъ шипъ по змѣиному. Ужели это дѣлается нарочно, съ единственной цѣлью досадить тебѣ или тѣмъ, чьихъ мнѣній ты служишь эхомъ? Послушай! Вѣдь со стороны журналовъ и газетъ было бы не только неpolitично, но даже непростительно не поступиться нѣсколькими печатными листами въ годъ въ пользу розъ, соловьевъ и вождѣющихъ помѣщицъ, чтобы водворить миръ и благоволеніе въ взволнованныхъ сердцахъ. Почему-нибудь, однакожь, они не пускаютъ въ ходъ этого фортеля. И знаешь ли, именно почему? Во-первыхъ, потому что нынче писателей такихъ нѣтъ, а во-вторыхъ, потому что и читатель для соловьевъ и розъ едва ли отыщется.

— Такъ, что нашей литературѣ суждено на вѣки пропахнуть мужикомъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ, оно самое и есть. Обвиненіе третье, но, въ сущности, главное и единственное. Ибо всѣ эти подрыванія основъ и авторитетовъ, эти направленія и подборы—все это мы охотно перенесли бы, еслибъ не замѣшался тутъ, въ видѣ занозы, мужикъ. Мужикъ—это главное: какъ онъ смѣетъ! Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... *que diable!* Но присмотрѣвшись

къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ—герой современности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумѣется, не былъ очевидцемъ „началъ“, но я не только помню, но даже лично присутствовалъ при нихъ. Я помню „Деревню“, помню „Антоня-Горемыку“, помню такъ живо, какъ-будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половины пятидесятихъ годовъ, эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ. Но ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, то надо же попытаться рѣшить ее. И вотъ мы видимъ, что лучшіе государственные люди нынѣшняго царствованія отдають ей всѣ свои силы, и что рядомъ съ ними ей же посвящаютъ себя и наиболѣе независимые (въ смыслѣ обезвеченности матерьяльныхъ средствъ) представители нашей интеллигенціи. Припомни годы „освобожденія“ и сознайся, что никогда этому слову не придавалось болѣе широкаго значенія, никогда интересъ, возбужденный имъ въ обществѣ, не граничилъ такъ близко съ энтузіазмомъ. Въ теченіи слишкомъ трехъ лѣтъ никакой другой рѣчи нельзя было слышать, кромѣ рѣчи о мужикѣ. Оказалось, что онъ рѣшительно необходимъ и что даже самое слово „мужикъ“ выражаетъ нѣчто очень сложное, почти всепроникающее. Всѣмъ онъ нуженъ, у всѣхъ какъ бѣльмо на глазу. Тупа философія, косноязычна риторика... безъ мужика. Помѣщикъ, заводчикъ, фабрикантъ, подрядчикъ, однимъ словомъ, всякій человѣкъ-практикъ,

всякъ понялъ, что въ его „дѣлахъ“ на первомъ планѣ стоитъ мужикъ. Должна была понять это и литература, и не по тому одному, что она обязана *все* понимать, но и потому, что въ этомъ дѣлѣ ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужикъ такъ всѣмъ необходимъ, то надо же знать, что онъ такое, что представляетъ онъ собой какъ въ дѣйствительности, такъ и *in potentia*, каковы его нравы, привычки и обычаи, съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И къ удивленію, оказывается, что узнать это совсѣмъ не такъ просто, и что міръ мужицкихъ отношеній значительно сложнѣе и запутаннѣе, нежели тотъ, въ которомъ обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенціи. Работа изслѣдованія началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и приостановиться, но дѣло въ томъ, что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить ее ужъ не такъ-то легко. Во-первыхъ, этому воспрепятствуетъ свойственная всякому интеллигентному человѣку любознательность; а во-вторыхъ, сама дверь просто-на-просто оказывается неудобозатворимою. Вотъ почему, современная атмосфера такъ насыщена мужикомъ: очень ужъ много лѣзетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вѣроятно, мы черезъ чуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, такъ что теперь...

Но на этомъ мѣстѣ рѣчь моя была прервана сильнымъ звонкомъ. Оказалось, что пріѣхалъ курьеръ, возвѣстившій Ѳединкѣ, что Иванъ Михайлычъ изволилъ благополучно возвратиться изъ Екатерингофа!

Признаюсь, я былъ даже доволенъ, что бесѣда наша такъ внезапно оборвалась. Надоѣло.

## ПЕРВОЕ ЮНЯ.

— Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть? спросилъ я Федю.

— Непремѣнно, mon oncle, отвѣчалъ онъ увѣренно: — это не только личное мое мнѣніе, но и всѣ компетентные люди такъ думаютъ.

Мы сидѣли въ ресторанѣ Лѣтняго сада и ѣли. Петербургъ опустѣлъ; не только столоначальники, но и помощники ихъ разѣхались по дачамъ и слетались въ городъ лишь на короткое время по утрамъ, чтобъ не совсѣмъ безъ вреда день прошелъ. Войска ушли въ лагерь, установленія бездѣйствовали, знакомые куда-то исчезли; во всемъ домѣ, гдѣ я нанимаю квартиру, изъ „хорошихъ“ жильцовъ остался только я одинъ, испуганный тѣмъ, что дождь съ утра до вечера лилъ какъ изъ ведра. Скука была пожирающая; одно развлеченіе имѣлось въ виду: наблюдать изъ оконъ, весело ли бодрствуютъ дворники. Оказалось, однако, что и Фединька засѣлъ въ Петербургѣ и день-деньской надъ чѣмъ-то коршитъ, а потомъ цѣлую ночь на пролетъ докладываетъ. Очевидно, онъ не на шутку занялся своею карьерой и рѣшился воспользоваться лѣтнимъ запускомъ и отсутствиемъ чиновнической конкуренціи, чтобъ всѣ свои способности лицомъ показать. Не

знаю почему, но при встрѣчѣ съ нимъ мнѣ вдругъ вспомнился Ландсбергъ, котораго имя въ эту минуту занимало всѣ умы и который тоже тщательно холилъ свою карьеру.

— Ты Ландсберга не знавалъ? обратился я къ Единькѣ.

— Къ сожалѣнію, зналъ. Прошлой зимой, даже *vis à vis* въ кадрили не разъ приходилось танцевать.

— Да, вотъ и онъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сдѣлать—и вдругъ...

Клянусь, я сказалъ это почти безсознательно, ни мало не рассчитывая проводить какія-нибудь паралели. Одна-кожь, Единька обидѣлся и покраснѣлъ.

— Неужели же вы находите какіе-нибудь поводы для сравненія? протестовалъ онъ.

— Упаси Богъ, мой другъ! Такъ... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное, подтянуть да и въ бараній рогъ согнуть — ну, и вспомнилось: а вѣдь, можетъ быть, и Ландсбергъ въ мечтаніяхъ своихъ рассчитывалъ: „только бы мнѣ съ Власовымъ благополучно сквитаться, а тамъ ужъ я знаю что дѣлать—буду подтягивать да подтягивать...“

— Къ счастью, я не имѣю надобности въ Власовыхъ...

— Ахъ, нѣтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человѣкъ аккуратный... Но Ландсбергъ—вѣдь это все-таки не мнѣ. Скажи, пожалуйста, когда ты съ нимъ прошлой зимой *vis à vis* танцевалъ, развѣ приходило тебѣ на мысль, что черезъ два-три мѣсяца этотъ человѣкъ будетъ судиться какъ убійца? Вѣдь не приходило? а?

— Конечно не приходило.

— И навѣрное, ты вмѣстѣ съ другими находилъ, что это прекрасный и способный молодой человѣкъ, который „пойдетъ далеко“. Признайся, случалось тебѣ съ нимъ по душѣ разговаривать? планы насчетъ величія Россіи строить?

— Признаюсь откровенно: случилось,

— И что же?

— Дѣйствительно, я находилъ, что это человекъ сильной воли, способный, и что...

— И что онъ „подтянетъ“?

— Да, думалъ и это.

— Ба! да ты вѣдь и Юханцева, конечно, знавалъ?

— Зналъ и его.

— И тоже считалъ, что это малый способный?

— Признаюсь... считалъ.

— И вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ собирались гдѣ-нибудь за бутылкой добраго вина (платилъ Юханцевъ) и совершенно серьезно разсуждали, что „такъ нельзя“, что „все распущено ни на что не похоже“, что „суды оправдываютъ“, „власти бездѣйствуютъ“, что „надо положить этому предѣлъ“... И Ландсбергъ при этомъ первый—да, именно онъ, онъ первый—припомнилъ и произнесъ слово „подтянуть“, а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ это, въ восторгѣ воскликнули: *oui, Landsberg — c'est l'homme du moment!*.. Вѣдь случилось это? да?

— Случалось.

— Посмотри, однакожь, какой, съ Божьею помощію, оборотъ! судъ-то словно подслушалъ ваши упреки, взялъ да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдалъ!

Все время, покуда я такимъ образомъ объяснялъ свою мысль, Фединька улыбался то иронически, то съ явнымъ нетерпѣніемъ, но, наконецъ, не выдержалъ и сказалъ:

— Прекрасно, прекрасно все это, *mon oncle*... Но желалъ бы я знать, съ какого повода вы начали этотъ разговоръ?

— Да говорю тебѣ, что просто такъ; свѣтская болтовня—и больше ничего. Теперь всѣ умы Ландсбергомъ переполнены — ну, и я... Скажи, пожалуйста, онъ ни въ какомъ комитетѣ не участвовалъ? По части поданія пособій

неимущимъ и сиротамъ... по части улучшенія нравственности... распространенія здравыхъ идей... спасенія общества отъ крушенія... ну, вообще, какіе у васъ тамъ комитеты съ дамочками заведены?

— Нѣтъ, я не встрѣчалъ его.

— Ну, стало-быть, не успѣлъ. А помѣшкай онъ немного съ Власовымъ или обдѣлай это дѣльце поаккуратнѣе... Впрочемъ, ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какія-нибудь паралели провожу... Увѣрю тебя, это свѣтскій разговоръ—и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. Къ счастью, въ эту минуту подали *boeuf braisé*, который былъ какой-то такой необыкновенный, что даже я, человекъ отъ природы не прихотливый, вознегодовалъ и забылъ о „подтигиваніяхъ“. Но, къ удивленію, Ѳединька, котораго я считалъ изнѣженнымъ и гурмэ (я даже удивился, что встрѣтился съ нимъ... въ Лѣтнемъ саду!), не только не возмутился, но преисправно рубилъ ножемъ эту обугленную доску и проглатывалъ одинъ за другимъ отрубленные куски.

— Дѣйствительно, я люблю тонко поѣсть, объяснилъ онъ мнѣ: — но ежели бы, по обстоятельствамъ, мнѣ пришлось бы даже въ греческой кухмистерской обѣдать—я и передъ этимъ не отступлю. Все въ свое время, *mon oncle*. Бываютъ моменты въ исторіи, когда всего нужнѣе поспѣшность.

— Послушай! а вѣдь я, представь себѣ, думалъ, что поспѣшность потребна только блохъ ловить! не удержался, прервалъ я.

— Вы неисправимы, *mon oncle*. Но будемъ продолжать. Теперь мнѣ совсѣмъ не до того, чтобы задумываться надъ меню. Я такъ занятъ, что бѣгу въ первый попавшійся кабачекъ и имѣю въ виду одну цѣль: утолить голодъ. Коль скоро эта цѣль достигнута — я доволенъ. И я увѣренъ, что обѣдъ въ греческой кухмистерской ни мало меня



не скомпрометируетъ, что я и тамъ съумѣю остаться самимъ собою. Въ этомъ вся сила, мой *опле*. Нужно такъ держать себя, чтобъ *всегда* быть внѣ подозрѣній, чтобъ всякій, кто бы ни увидѣлъ меня—даже въ „Аѳинахъ“ — сказать себѣ: ежели этотъ человѣкъ пошелъ обѣдать въ „Аѳины“, то это означаетъ, что такъ нужно, а совѣтъ не то, чтобъ онъ хотѣлъ сэкономить двугривенный.

Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть:

— Оединька! я тебя уважаю!

— Enfin! Но, въ такомъ случаѣ, я могу вамъ сказать, что ежели вы откинете предвзятія мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынѣшнею молодежью—нашего общества, разумѣется — встрѣтите ужь много людей вполне дѣловыхъ, и готовыхъ на жертвы. Да вѣдь и пора за умъ взяться—это ясно для всѣхъ.

— Ясно?

— Да, всѣмъ сдѣлалось ясно, что мы не на розахъ покоимся. Еще годъ тому назадъ, мы, можетъ быть, продолжали бы малодушествовать и либеральничать, и развѣ наиболѣе мужественный изъ насъ позволилъ бы себѣ вопросъ: да куда же мы, наконецъ, идемъ? Нынче — всѣ уже поняли и почувствовали. Нетолько либеральничать, но даже восклицать и дѣлать вопросы представляется уже возмутительнымъ. Не время жаловаться, надо прямо къ дѣлу идти: *respicere finem*. Надо разрѣшать предстоящую задачу безъ околичностей.

— Гм... проявлять гражданское мужество?

— Нѣтъ, и это не такъ. И мужества не надо. Мужество — это что-то искусственное, напускное; это скорѣе терминъ, нежели дѣло. Мужество есть проявленіе единичное, предполагающее царствующую кругомъ трусость. Не надо словъ, не надо ни мужества, ни трусости; нужно са-

мое простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ вывертовъ, безъ всякихъ украшеній поэзій, исполненіе обязанностей—вотъ и все.

— Въ родѣ того, напримѣръ, какъ городовые исполняютъ: не можемъ знать, начальство приказываетъ?

— Ну да, въ этомъ родѣ... Я не брезгливъ, и ежели нужно, то отвѣчу прямо: отчего и не такъ?

— Гм... такъ вотъ ты какъ... bravo!

— Я, mon oncle, не претендую жить въ потомствѣ, окруженный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы болѣе полезны. Я не герой, а простой труженикъ современности. Коли хотите, и тутъ есть мужество, но я предпочитаю обходить это выраженіе, потому что нахожу его сбивающимъ съ толку, опаснымъ.

— Даже опаснымъ?

— Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ предствленіемъ о мужествѣ всегда какъ-то соединяется предствленіе объ ореолахъ, а эти ореолы...

— Не согласуются съ „не можемъ знать“? Да, пожалуй, что ты и правъ. Человѣка, у котораго въ глазахъ мелькаютъ „ореолы“, никакъ нельзя назвать вполне надежнымъ. Нѣтъ-нѣтъ, да и свернетъ въ сторону: а нутка, посмотримъ-моль, что-то объ этомъ предметѣ въ „ореолахъ“ написано? Мнѣ и самому иногда это приходило въ голову: поступать, такъ поступать... чтобъ безъ „ореоловъ“!

— Вы шутите, а я...

— Ни мало, мой другъ, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу примѣръ въ подтвержденіе твоей же собственной мысли. Въ наше время мы видимъ, напримѣръ, ужасно много измѣнниковъ. Одни сдѣлались таковыми по легкомыслию, другіе — ради двугривеннаго, третьи, наконецъ, просто потому, что смалодушничали. И что-жь! несмотря на то, что это фактъ обиденный, а иногда даже выгодный,

всякій разъ, какъ я гляжу измѣнника, мнѣ невольно приходитъ на мысль: вотъ субъектъ, который долженъ сознавать себя въ положеніи человѣка, изгнаннаго изъ рай! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, но крайней мѣрѣ, на первое время. Разумѣется, современемъ они остервенятся, начнутъ и взаправду поступать независимо отъ „ореоловъ“, но куда... Вотъ, кажется, самый настоящій, самый достовѣрный „измѣнникъ“, а смотришь, онъ нѣтъ-нѣтъ, да и проврался. И воспоминанія старья выплываютъ, и рай старинный представляется. Путаешь, да и все тутъ. Вотъ почему я и полагалъ бы: измѣнниковъ принимать, но до интимности ихъ не допускать. Припоминается мнѣ по этому поводу слѣдующій случай: когда я служилъ, то пришлось мнѣ однажды, въ разговорѣ съ начальствомъ, по поводу одного кочующаго по разнымъ дѣламъ чиновника, выразиться: помилуйте ваше превосходительство, вѣдь это свинья, а вы его по губерніямъ посылаете!—А вы развѣ свинины не ѣдите? спросилъ меня его превосходительство.—Ѣмъ-съ.—Ну, и мы свиной употребляемъ, когда надобность предстоить... Вотъ это, мнѣ кажется, самая настоящая точка зрѣнія на свиней: ѣсть ихъ можно, не нужно только, чтобы эта пища сдѣлалась господствующею или исключительною. Подобно сему, и измѣнники. Напримѣръ, ежели кто въ былое время англійскими порядками восторгался и на этомъ фортуны себѣ составилъ, то ежели бы онъ и сталъ таковые внезапно порицать, слѣдуетъ вѣрить ему только въ половину. И не по чувству недовѣрія къ искренности его измѣны, а просто потому, что онъ не въ силахъ сразу совсѣмъ измѣнить. Фразеологія у него такая ужъ искони образовалась, что даже среди самыхъ искреннихъ ругательствъ на англійскіе порядки неспремѣнно что-нибудь вынырнетъ сочувственное имъ. Либо словечко не то, какое нужно, человѣкъ молвить, либо не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, курсивъ пу-

стить, либо кавычками не к стати отгнать — вообще, хоть и неумышленно, но пакость сдѣлаетъ. И такъ, повторяю: принимать измѣнниковъ можно, но до интимности допускать ихъ—нельзя. Пускай прежде остервеются. Таеъ ли, мой другъ?

— Разумѣется, ежели смягчить форму, въ которой вы изложили ваше замѣчаніе — признаюсь, я этой формы не понимаю—то въ немъ окажется извѣстная доля правды.

— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мнѣ, не знаю почему, говорятъ, что я преувеличиваю. Стало быть, рѣшено: измѣнниковъ держать въ черномъ тѣлѣ, покуда не сбѣсятся... браво!

— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужествѣ, а вы свели разговоръ...

— На измѣнниковъ? да вѣдь это-то самое и есть разговоръ о мужествѣ, потому что всѣ измѣнники именно такъ и начинаютъ: надо-дескать когда-нибудь имѣть мужество... Но мужества-то, какъ ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ахъ, чортъ ихъ возьми! они думаютъ, что ихъ сейчасъ за это мужество въ передній уголь посадятъ и начнутъ настоящимъ малороссійскимъ саломъ кормить—и вдругъ сюрпризъ! Извольте-ка сначала на помояхъ посидѣть, да объ мужествѣ-то позабыть, да заслугъ-то не выставятъ, а просто безъ затѣй лбомъ въ стѣну стучать, какъ по правиламъ о чистосердечныхъ раскаяніяхъ полагается—а потомъ-дескать увидимъ, какъ съ вами поступать!

— Съ вами, mon oncle, рѣшительно правильную бесѣду вести нельзя. Вы все какъ-то картины рисуете.

— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нѣтъ такой идеи, чтобы комиссію устроить для начертанія правилъ на случай чистосердечныхъ раскаяній?

— Покуда еще Богъ миловаль.

— А по моему, такъ это съ твоей стороны упущеніе.

И ежели ты хочешь, то я тебѣ въ этомъ случаѣ помогу. Въ слѣдующій разъ, какъ мы свидимся...

— Нѣтъ, ужъ отъ „правилъ“ увольте.

— Чтò такъ? А еще самъ, мѣсяцъ тому назадъ, говорилъ, что отъ содѣйствія литературы не прочь.

— Отъ содѣйствія, но не...

— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будемъ пестрить нашу бесѣду эпизодами, и возвратимся къ первоначальному ея предмету. А впрочемъ, позволь еще одинъ, послѣдній эпизодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а въ сущности, чтò же такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сейчасъ, мы здѣсь сидимъ, чортъ знаетъ чтò ѣдимъ, „а завтра — гдѣ ты человѣкъ?“ Такъ-то, мой другъ! все въ сей юдоли плача — эпизодъ. Иногда веселый, иногда мрачный, какъ придется: а настоящаго, на что бы можно сослаться, объ чемъ бы можно было съ увѣренностью сказать: вотъ каковъ у меня сюжетъ!—этого нѣтъ. Я давно это понялъ, и потому очень естественно, что въ мою бесѣду такъ легко прорываются эпизоды. Бесѣда моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однако-жь, довольно, а то пожалуй, ты и въ самомъ дѣлѣ разсердишься. Душа моя! что такое душа моя? и кому какое дѣло до души моей? „Не многимъ знать“—тутъ и душа, и совѣсть, и убѣжденіе—все! Basta! довольно объ этомъ... Итакъ, ты утверждаешь, что мужество слѣдуетъ по боку?

— Не „по боку“, а... какъ вы странно, однакожь, выражаетесь, mon oncle! окончательно разсердился Ѳединька.

— Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особеннаго я не хотѣлъ сказать. Я утверждаю только, что въ нашемъ прошломъ, въ тѣ историческія минуты, которыя мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, безъ котораго нынче ни одинъ коллежскій регистра-

торь шагу ступить не можетъ. Еще не далѣе какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, кто позволилъ бы себѣ назвать мужествомъ простое исполненіе долга?

— Такъ, стало быть, по твоему, нынѣшняя историческая эпоха—не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этотъ вопросъ, я поступилъ не совсѣмъ добросовѣстно, но очень ловко. Какъ истинно русскій либераль, я ухитрился подловить моего противника на вполне непререкаемой почвѣ. Ты-моль хотѣлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я взялъ да въ одну минуту тебя превзошелъ! Ура! И дѣйствительно, Фединька сдѣлалъ видъ, что неслыхалъ моего вопроса. Къ счастью, въ это время намъ сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Фединька нѣсколько минутъ, какъ очарованный, смотрѣлъ на нее и только наконецъ очнулся.

— Это еще чтѣ за мерзость? обратился онъ къ половому.

— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ, возразилъ половой, которому, повидимому, была дорога репутація заведенія.—У насъ не то чтобы что, а даже самъ хозяинъ...

— Цыцъ! прикрикнулъ на него Фединька, а за тѣмъ, обращаясь ко мнѣ, присовокупилъ:—вы слышали этотъ отвѣтъ, mon oncle? Скажите, откуда онъ пришелъ?

— Да все оттуда же, голубчикъ.

— Опять... эпизоды?

— Нѣтъ, не „эпизоды“, а оттуда же, откуда идетъ и твое „цыцъ“.

Но онъ даже отвѣтомъ меня не удостоилъ и, къ удивленію, разгрызъ птицynu кость и въ одно мгновеніе ока обглодалъ ее. Потомъ взглянулъ на часы и сказалъ:

— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а потомъ—за работу. Будемте курить.

Мы расплатились, прошли нѣсколько шаговъ по аллеѣ,

сѣли на скамью, и закурили сигары. Онъ самъ предложилъ мнѣ какую-то чудную сигару, обернутую въ свинецъ.

— Рекомендую, сказалъ онъ: — эту сигару мнѣ вчера Иванъ Михайловичъ подарилъ.

— А онъ любитель?

— Еще бы! Однажды, онъ съ Фейкомъ въ Парголовскомъ озерѣ купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумѣется, Иванъ Михайловичъ его спасъ, и вотъ съ тѣхъ поръ... Нѣтъ, вы понимаете, mon oncle? запахъ-то, запахъ каковъ?

— Ну, вотъ и ты „эпизодъ“ рассказалъ. Прекрасный запахъ, лучше нельзя. Такъ возвратимся къ нашему разговору. Ты, помнится, говорилъ, что необходимо „подтянуть“?

— Сказалъ, mon oncle.

— Прекрасно. Но иногда мнѣ сдается, что, говоря о „подтягиваньяхъ“, не всѣ и не всегда сознаютъ значеніе этого выраженія. Кого, напримѣръ, предполагалъ бы ты подтянуть!

— О! вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ рѣчь?

— Нѣтъ, не знаю. Кажется мнѣ, что ты имѣешь въ виду любезное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.

— Почему же опасаетесь?

— Да потому что... ну, просто потому, что повѣрить этому трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное государство, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“—и вдругъ ты собрался его „подтянуть“! Неужели ты самъ не чувствуешь, что это безсмыслица!

— Но почему же, mon oncle? почему?

— Потому, прежде всего, что Богъ возжей такихъ не создалъ. Пойми меня: можно пройти по странѣ съ огнемъ и мечемъ, можно раззорить ее, испепелить, изсушить... Это будетъ нелѣпо, жестоко, по-татарски, но ежели изъ сего должно произойти возрожденіе—дѣлать нечего, пусть такъ.

Но... „подтянуть“! Подтянуть, согнуть въ бараній рогъ— право, тутъ даже идеи никакой нѣтъ! Это только уродливые образы, которыхъ въ натурѣ невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себѣ Россію взнузданною или въ видѣ бараньяго рога... вѣдь нельзя себѣ это представить? не правда ли? нельзя?

— Да, но вѣдь вы понимаете, что я говорю *au figuré*.

— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ *au figuré* просто непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда инословіе становится поперегъ горла, когда отъ него гноемъ нахнетъ. Вспомни, голубчикъ! вѣдь Россія—твое отечество!

— И помню, *mon oncle*, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россію и настаиваю на своемъ. Вы ловите меня на словахъ. „Подтянуть“—это дѣйствительно не совсѣмъ точное выраженіе—уступаю его вамъ. Но нельзя же, наконецъ, терпѣть!

— Чего нельзя терпѣть?

— Помилуйте! ужели мало примѣровъ своеволя, неподчиненія, дерзости? ужели то, что мы видимъ вокругъ, можетъ назваться другимъ именемъ, кромѣ анархіи, безначалія?

— Я знаю, объ чемъ ты говоришь, но въ то же время искренно убѣжденъ, что ты ужъ черезчуръ охотно дѣлаешь обобщенія. Тебя поражаютъ отдѣльные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься въ нихъ, что повсюду, въ самыхъ невиннѣйшихъ проявленіяхъ человѣческой подвижности, видишь нѣчто однородное, выходящее изъ одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедливъ, но просто надуваешь самого себя, создавая напрасныя обобщенія и подавляя себя бременемъ непосильной работы?

— Нѣтъ, это не напрасныя обобщенія! Это дѣйствительность, наша современная горькая дѣйствительность.



И ежели даже подобные случаи кажутся вамъ нестоящими вниманія, то...

— Остановись, мой другъ. Зная твое усердіе, я боюсь, что ты сдѣлаешь новую несправедливость и обвинишь меня въ измѣнѣ. Измѣны съ моей стороны нѣтъ. Я просто говорю, что ты черезъ-чуръ охотно обобщаешь и вслѣдствіе этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну, а ты извращаешь мои слова и съ помощью этой фальсификаціи инсинуируешь, что чуть ли я не слагаю хвалы...

— Ахъ, mon oncle, неужели вы могли подумать!

— Ничего я не думаю, кромѣ одного: что это манера очень неприятная. Говорю тебѣ это откровенно, потому что ты все-таки... Неугодовъ! Вѣдь ты—Неугодовъ? такъ? ты понимаешь, какъ это будетъ дурно, если кто-нибудь скажетъ: а знаете ли, что Ноугодовъ...

— Mon oncle!

— То-то, надо быть осмотрительнымъ, голубчикъ! Блюсти-блюди! но не до безчувствія—нѣтъ! Избѣгай дурныхъ или неопытныхъ словъ, ибо они могутъ привести къ скандалу и въ самомъ лучшемъ случаѣ произвести изумленіе.

— Но, право, я не понимаю, что же вы видите въ ихъ словахъ дурного?

— Дурно, во-первыхъ, то, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторыхъ, хоть ты и увѣряешь, что выразился au figuré, но, какъ я уже сказалъ тебѣ, бываютъ предметы, относительно которыхъ figuré не допускается. А въ-третьихъ, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсѣмъ безумно такъ легко и безцеремонно обобщать. Скажи, есть ли въ этомъ смыслъ: ты берешь два-три факта, положимъ десять, сотню, и мстишь за нихъ—кому?—Россіи!

— Я... мщѣ! никогда, mon oncle, никогда!

— То есть, конечно, не въ настоящемъ времени: те-

перь, у тебя еще руки коротки! но ты намѣчиваешься, ты создаешь себѣ идеалы. Ты ужь серьезно подумываешь: вотъ погоди! ужь, какъ я подросту, я покажу, гдѣ раки зимуютъ! На что похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно употребилъ выраженіе „подтягивать“, но вѣдь и вы... Вы прямо приписываете мнѣ то, чего у меня и въ мысляхъ никогда не было. Я просто говорю: надо принять рѣшительныя мѣры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имѣешь возможность, то разглагольствуй на эту тѣму, предлагай, докладывай. Но оставь въ покоѣ Россію. Что тебѣ она сдѣлала? за что ты ее въ звѣриный образъ пожаловалъ? за что ты съ такимъ злорадствомъ выскиваешь мѣстечко, куда бы ее почувствительнѣе кольнуть?

— Совсѣмъ я не ищу этого; напротивъ, искренно желаю спасти, оберечь...

— Исцѣлись лучше самъ, а не спасай то, что въ снѣженіяхъ твоихъ не нуждается. Самъ же ты на каждомъ шагу утверждаешь, что эти „превратныя толкованія“, которыя такъ тебя безпокоятъ, не имѣютъ корня въ массахъ, что массы имъ не сочувствуютъ, и что это еще больше выдаетъ ихъ головой, такъ зачѣмъ же ты, пользуясь симъ случаемъ, массы-то эти собираешься „подтянуть“?

— Ничего я относительно массъ не имѣю. Массы у насъ добрыя— я знаю это.

— Знаешь, а въ то же время изнемогаешь подъ бременемъ фантастическихъ мѣропріятій. И именно общихъ мѣропріятій, захватывающихъ возможно обширнѣйшую область. Развѣ я не читаю на твоёмъ лицѣ: непременно надобно, чтобъ каждый зналъ, что Кузьку Кузкой зовутъ!.. за что?

— И это—только предположеніе съ вашей стороны, и ничего больше. Ни объ какомъ „Кузькѣ“ я никогда не

думаю—даже этого термина совсѣмъ не знаю— а думаю и утверждаю, что рѣшительныя мѣры все-таки необходимо принять.

— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, ни мало не подозрѣвая, что твои рѣшительныя мѣры совсѣмъ не туда попадутъ, куда ты мѣтишь или предполагаешь метить, а все мимо и мимо. Да и не на пусто попадутъ—нѣтъ, а произведутъ безпокойство и тревогу именно въ той самой средѣ, которую ты собрался спасти. Впрочемъ, въ строгомъ смыслѣ, я не могу даже поставить тебѣ это въ вину, потому что ты мыслишь вполне согласно съ традиціями. Мы, русскіе, всегда оказывались безсильными, когда нужно было указать на дѣйствительно больное мѣсто. Но за то никто свободнѣ насъ не плавалъ въ океанѣ такъ называемыхъ общихъ мѣропріятій. Оно и легко и лестно. Во-первыхъ, плыви куда хочешь—нигдѣ пути не заказаны; во-вторыхъ, бей направо, бей налево—авось и подвернется виноватый, а въ-третьихъ, какъ же не лестно: мозговъ не утруждаешь, а между тѣмъ воочію видишь, какъ въ сердцахъ водворяется спасительный страхъ.

— Ну, лестнаго-то не много положимъ.

— Нѣтъ, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты—гарцуешь, а Кузьки—безъ шапокъ въ спасительномъ страхѣ обрѣтаются... какой картины еще лучше желать!

— Ахъ, дядя, дядя! что жь дѣлать, коли другихъ средствъ нѣтъ!

— Оттого и средствъ нѣтъ, что мы искони думаемъ, какъ бы полегче да попроще преуспѣть. А ты, коли хочешь новую эру въ сферѣ мѣропріятій намѣтить, то разсуждай такъ: я желаю достигнуть того-то и того-то (такъ и начинай съ подробнаго опредѣленія твоихъ желаній, а не съ того, что у меня дескать руки чешутся), слѣдовательно обязываюсь въ этомъ смыслѣ потрудиться, а не бѣжать куда глаза глядятъ.

— Зачѣмъ же дѣло стало! потрудитесь вы, mon oncle!  
Замѣчаніе это было не лишено язвительности и застало меня нѣсколько врасплохъ, Но, разумѣется, въ концѣ концовъ, я-таки нашелся.

— Ты опять къ инсинуаціямъ прибѣгаешь, любезный другъ, сказалъ я:—сейчасъ только я объяснилъ тебѣ, какъ это неприлично въ частной бесѣдѣ, а ты ужъ и позабылъ. Не хорошо это, даже коварно. Я къ тебѣ обращаю мою рѣчь, къ тебѣ, человѣку, до краевъ переполненному проэктовъ объ упрочненіи твоей карьеры, тебѣ говорю: потрудись! — а ты предательски перевертываешь мою рѣчь и говоришь: — потрудись самъ! И говоришь, зная, что моя пѣсня спѣта, что мнѣ и жить-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю, какъ о томъ, чтобъ уйти, стусеваться, исчезнуть... Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! изъ молодыхъ да ранній!

— Да вѣдь я, дядя, по родственному. Вижу, что вы критикуете—вотъ я и заключилъ: можетъ быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

— И ничего не критикую, а прямо лично тебѣ говорю: стыдись! Извини, любезный другъ, я тоже по родственному!

Өединька ни слова не отвѣтилъ на мою рѣзкость (повидимому, онъ даже не обидѣлся ею), а только съ безпечнымъ видомъ помахивалъ въ воздухѣ тросточкой, и потихоньку, сквозь зубы пропѣлъ:

A Provins  
Trou-la-la-la...  
On récolte des roses  
Et du jasmin  
Trou-la-la-la...  
Et beaucoup d'autres choses.

— Понимаю, сказалъ я:—ты хочешь дать мнѣ понять, что мои іереміады такъ же стары, какъ эта пѣсенка. Что

нише въ Демидронѣ ужь совсѣмъ другія пѣсни поютъ... Но увѣряю тебя, что критики мои вовсе не такъ устарѣли, какъ это кажется.

Но Оедиянка и на этотъ разъ, вмѣсто отвѣта пропѣлъ:

Et j'frotte et j'frotte, et allez donc!  
Il vient trop de monde dans la maison!

— И эту пѣсенку я знаю, сказала я: — и знаю цѣлое поколѣніе такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на подобныхъ пѣсенкахъ. Когда однѣ гривуазныя пѣсни на умѣ, тогда, конечно, кажется, что на свѣтѣ все распутывается легко.

— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта матерія стоить того, чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обидныя слова!

— Разумѣется, стоить, Вѣдь ты карьеристъ, пойми меня, Христа ради! Еслибъ ты не былъ увѣренъ въ успѣхѣ, я бы не тратился на слова. Но ты увѣренъ въ себѣ, и въ то же время совершенно серьезно дѣлѣешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старѣе даже тѣхъ пѣсенокъ, которыя ты сейчасъ пропѣлъ. Надо же колебать въ тебѣ это убѣжденіе! надо же высказать тебѣ, что подобныя идеалы ни процвѣтанія, ни преуспѣянія никогда не производили. Надо, чтобъ ты понялъ, что на свѣтѣ существуютъ не двѣ только разновидности: челоуѣкъ-начальникъ и челоуѣкъ-бунтовщикъ, но есть еще средней челоуѣкъ, трудящійся и скромный, челоуѣкъ, который предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, свободу стѣсненію, потому что видитъ въ спокойствіи и свободѣ единственную ограду своей личности и своего труда. Вотъ этого-то среднего челоуѣка и не слѣдуетъ тревожить.

— Даже если онъ принадлежитъ къ числу сочувствующихъ?

— Умоляю тебя, не говори неопрытныхъ словъ! „Со-

чувствительность — это одна из самых пакостных кличек, каких множество сочинено въ послѣднее время и начертано на стѣнахъ ретиральныхъ мѣстъ. Она придумана съ тѣмъ, чтобы клеймить людей, не совсѣмъ утратившихъ чувство человѣчности, и это придаетъ ей еще болѣе отвратительный смыслъ. Къ счастью для человѣчества, на свѣтѣ больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ сердцемъ, нежели змѣеподобныхъ ретираниковъ. Но какъ ты думаешь, однако-жь, весело ли этимъ людямъ видѣть, какъ на нихъ перстами указываютъ?

— C'est la fatalité, mon oncle, вотъ все, что могу вамъ на это сказать.

— Подумай, однако-жь! какое можетъ быть преуспѣянье, когда ты объ томъ только мечтаешь, какъ бы хорошенько испугать? какая можетъ быть производительность, когда „средній человѣкъ“ (онъ же и единственно-производительный) будетъ ежемгновенно видѣть передъ собою тебя, мелькающаго, сверкающаго, помахивающего, потрясающаго...

— И оглашающаго стогны непечатными словами... я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всѣмъ тѣмъ остаюсь при своихъ убѣжденіяхъ...

— Выражающихся въ одномъ словѣ „подтянуть“ — помилуй! развѣ это убѣжденіе?

— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть убѣжденія, и знаю, въ чемъ они состоятъ. И повѣрьте, не ошибусь.

— Эй, Оеда, не ошибись! Не вѣчно вѣдь будутъ проповѣдывать, что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ — злонамѣренная комедія, что свободная печать — вертепъ мошенниковъ пера, что человѣчность равна сочувствію... Нынче, это, конечно, въ модѣ, но завтра, быть можетъ, и выйдетъ изъ моды.

— А ежели ошибусь, такъ и отвѣчу. Нынче, мы всѣ такъ настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца

ерундѣ. А ерунда всего опаснѣе и надо во что бы то ни стало выбраться изъ нея. Согласны?

— Согласенъ, что въ ерундѣ мало хорошаго, но, знаешь ли по совѣсти говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ къ ерундѣ, нежели къ неуклонному шествию.

— У всякаго свой вкусъ. Однакожъ, я съ вами заболтался, mon oncle. Семь часовъ, пора и за работу. До свиданія; надѣюсь, что вы на меня не въ претензіи?

— Помилуй, дружокъ, за что? Вотъ ты на меня.. ахъ, да скажи же, пожалуйста, какъ папан? давно ты не получалъ отъ нея писемъ?

— Вчера получилъ. Пишетъ, что здорова и собирается сюда.

— Вотъ какъ!

— Да; но признаюсь, я все еще сомнѣваюсь. Боюсь, какъ бы опа, вмѣсто Петербурга, не очутилась въ странѣ зулусовъ, въ качествѣ сестры милосердія при принцѣ Наполеонѣ \*). Во всякомъ случаѣ, ежели она прѣдетъ — мы ваши гости, mon oncle A bientôt et sans gancune.

Съ этими словами, онъ пожалъ мнѣ руку и побрелъ вдоль по аллеѣ къ выходу.

---

\*) Тогда принцъ Наполеонъ былъ еще живъ и воевалъ.

## ПЕРВОЕ ЮЛЯ.

Почти весь июнь я посвятилъ семейнымъ радостямъ.

Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ.

Выхожу; вижу въ гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелѣвшая, рыхлая; съ мягкими, начинающими расплываться чертами лица, съ смѣющимися глазками, съ пышно взбитымъ бѣлокурнымъ ореоломъ вокругъ головки. Но сколько было намотано на ней всякихъ дорогихъ ветошекъ—это ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Вѣроятно, она не меньше трехъ часовъ сряду охорашивалась передъ цѣлымъ сочетаніемъ зеркалъ, прежде нежели явиться во всеоружіи. При моемъ появленіи, дамочка устремила къ мнѣ, но, видя, что я ея не узнаю, остановилась въ горестномъ недоумѣніи.

— Cousin! стало быть, я очень подурнѣла, если ты меня не узнаешь! вылетѣло горестное восклицаніе изъ ея крѣпко схваченной корсетомъ груди.

И въ одинъ мигъ, двѣ крошечныя слезки затуманили крошечные глаза.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ тѣмъ же вопрошающимъ и какъ бы изумленнымъ личикомъ, съ тѣми же порывистыми, почти необъяснимыми тѣлодвиженіями. Та же да не та. Что же, однако, случилось съ



нею? Точно кто нибудь, проходя мимо этой еще не так давно тому назадъ свѣже-нарисованной картинки, неосторожно задѣлъ рукавомъ и слегка затушевалъ слишкомъ мягкія очертанія.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумѣется... разумѣется, это ты! воскликнулъ я въ умиленіи:—но какъ ты могла подумать, что подурнѣла! Подурнѣла... ты!

Двѣ новыя слезки блеснули въ крошечныхъ глазкахъ, но это были ужъ слезки радости.

— Нетолько не подурнѣла, продолжалъ я:—но даже удивительно какъ похорошѣла! Пополнѣла, выраженіе какое-то приобрѣла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная счастіемъ, крѣпко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду, въ куртнѣ? Какой ты былъ тогда... дурной! вдругъ совѣмъ неожиданно вспомнила она, и—о неисповѣдимыя глубины женскаго сердца!—кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назадъ. Ей было съ небольшимъ пятнадцать лѣтъ (почти невѣста), мнѣ—двадцать три года. Въ то время, я былъ ужаснѣйшій сорви-голова—просто, какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или дѣвочку и сейчасъ же чувствую, какъ все внутри у меня поѣтъ: *rien n'est sacré pour un sapeur!!!* Я помню, я гостилъ у tante Babette (такъ звали Наташину маман, тоже куколку); однажды, гуляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бѣгали, перегоняли другъ друга и, бѣгая и перегоняясь, все забирали влѣво да влѣво. И вдругъ очутились Богъ знаетъ гдѣ, въ совѣмъ дикомъ мѣстѣ, среди четырехъ кустовъ...

— Гдѣ мы? спросила Наташа взволнованная.

Я помню: я обнялъ ее, поцѣловалъ, погладилъ по головкѣ, и... вывелъ на правый путь!! Однако, весь осталь-

ной день послѣ этого, Наташа ходила нѣсколько томная и удивительно-удивительно нѣжная...

Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секретъ, не говорила ни татан, ни мужу, штабсъ-ротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь съ такимъ благоговѣйнымъ упорствомъ хранить память о заблужденіи среди четырехъ кустовъ!

— И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцѣловалъ и погладилъ по головкѣ—все какъ тогда. И, обнимая, чувствовалъ, какъ на моей груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...

— Милая, милая! повторялъ я въ восхищеніи:—о, еслибы!..

Я хотѣлъ сказать: о, еслибы мнѣ не было пятидесяти пяти лѣтъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти-пяти вычесть восемь, то это все-таки составитъ ровно сорокъ семь лѣтъ, возрастъ очень и очень не маленькій—и замолчалъ.

— У кого ты заказываешь корсеты? спросилъ я ее.

— У Lavertujon, Paris, гие... Н... заспѣшила она:—а что?

— Изумительный!

— Ахъ, ты не можешь себя представить, какіе это корсеты! Я совсѣмъ-совсѣмъ не чувствую, есть ли на мнѣ корсетъ или нѣтъ!

— Изумительно! Но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ „душкамъ“, кирасирскіе доспѣхи на себя надѣвать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мнѣ пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцѣловалъ... Душка-пальчикъ! плутишка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ

и смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Да, это она, это моя „куколка“, не смотря на то, что пополнила и налилась больше чѣмъ нужно, чтобъ быть à point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрѣла и, наконецъ, совсѣмъ поспѣла, сдѣлалась куколкой, вполне сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже нѣкоторыя—конечно, небольшія—огорченія. Въ послѣдній разъ, какъ мы видѣлись, въ ней все еще замѣчались признаки чего-то несовершеннаго, сдѣланнаго на живую нитку. Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки отъ времени заплыли, все устоялось на своемъ мѣстѣ, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отвѣтомъ безъ починки на сколько угодно лѣтъ.

И что всего пріятнѣе, у этихъ куколокъ всегда всѣ принадлежности въ уменьшительномъ. Нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. Это дѣлаетъ рѣчь чрезвычайно учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цышка, ротикъ-розанчикъ. А грудка — такъ это даже сказать нельзя, чтó это такое! Точь въ точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубочка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!

— А помнишь, Наташа, воскликнулъ я:—какъ, бывало, твой Simon возьметъ тебя въ охапку и унесетъ невѣдомо куда... знаешь ли, вѣдь это было отчасти даже скандально!

— Ахъ, не вспоминай... я такъ была тогда счастлива!

И опять двѣ слезки.

— А ты какъ? спохватилась она: — все такой же... дурной?

Очевидно, что лексиконъ ея былъ не разнообразенъ. Но и это опять-таки мило. Она знаетъ, что она куколка, и что les messieurs любятъ куколокъ совсѣмъ не за лексиконъ. Они любятъ, потому что они... дурные. Это слово запало въ ея голову, и она повторяетъ его, какъ ново-

рила и ея куколка-маман. Они дурные, но вмѣстѣ съ тѣмъ они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, а можно только по секрету думать. И маман ея по секрету такъ думала, и въ доказательство, что *les messieurs* бывають и милые, большая куколка произвела на свѣтъ маленькую куколку. Дурные и милые—весь кругъ ея мыслей тутъ, а въ тоже время и весь лексиконъ. Ужели это не трогательно?

— Ну, что обо мнѣ говорить! отвѣтилъ я: — нѣтъ, ты лучше вотъ что скажи: гдѣ ты это платьице шила?

— У *Worth*... я всегда у него весь туалетъ дѣлаю. Ахъ, онъ такой милый! *Et gentleman—jusqu'au bout des ongles!* Когда онъ снимаетъ мѣрку, я всегда хохочу. А тебѣ нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмотрѣлась спереди, отошла, потомъ повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?

— Восхитительно!

— И что ужасно приятно: я почти совѣмъ не чувствую, что я одѣта. А впрочемъ, это достается не легко, потому что онъ (*Worth*) ужасно какъ строгъ! Когда онъ снимаетъ мѣрку или примѣриваетъ—это цѣлый урокъ... Онъ командуетъ, *à la lettre* командуетъ. Представь себѣ, не позволяетъ дышать: *tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça!* Приказываетъ принимать всевозможныя позы: *mélancholique, suppliante, impérieuse*... заставляетъ поднимать руки... И это... иногда безъ рукавовъ!

— Ахъ!

— Да, и мнѣ ужасно было въ первый разъ странно. Но потомъ, привыкла—и ничего!

— Ну, а перчатки гдѣ берешь?

— Перчатки—у *Voiviv*, шляпки—у *Coralie*. Ну, посмотри, развѣ можно сказать, что это—шляпка?

Она опять подошла къ зеркалу и повернулась передъ нимъ.

— Какая это шляпка! Это—воздушное безе! Это „шпанскіе вѣтры“... помнишь, у васъ былъ поваръ Кузьма—какъ онъ отлично „шпанскіе вѣтры“ приготовлялъ!

— Ахъ, Simon такъ любилъ это пирожное!

— И это пирожное, и тебя...

— Нѣтъ, онъ любилъ еще Милэди! помнишь, у насъ рыженькая лошада была, еще я верхомъ на ней всегда ѣздила? Еще однажды я такъ неловко свалилась?

— Помню, помню! Стало быть, три вещи Simon любилъ: „шпанскіе вѣтры“, кобылку и тебя. Все вмѣстѣ это составляетъ ваши семейные *les piéux souvenirs*! Но ножки твои, Наташа? Я непременно хочу твою ножку видѣть!

Она слегка сжалась, молвила: ахъ, ты все такой же... дурной! но ножку все-таки показала... Ахъ, это была ножка!!

— Прелесть! воскликнулъ я отъ глубины души:—и какъ обута—восхищенье!

— Да, по это ужъ не въ Парижѣ, замѣтила она очень серьезно:—туфли и ботинки мнѣ Теодоръ отсюда прислалъ, отъ Auclair.

— Вотъ какъ! Чтожь, впрочемъ, это и резонно. Я и самъ: вино отъ Рауля беру, но балыки... о, балыки непременно надо въ Москвѣ на монетномъ дворѣ покупать... янтарь!

Упоминовеніе о балыкѣ, повидимому, подѣйствовало на нее возбуждительно, потому что она инстинктивно потеряла ручкой корсетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ даже у куколокъ предполагается желудочекъ. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется!

— Покушать захотѣлось? спросилъ я:—пожалуйста, не церемонься! приказывай!

— Да... крылышко... если можно! прошептала она стыдливо.

— Заѣмъ крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспѣшно распорядился и, черезъ полчаса, мы уже сидѣли за столомъ.

— Наташа! какъ тебѣ угодно, а я сяду поближе, рядышкомъ. Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ, мы заблудились, а за обѣдомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣли рядышкомъ.

— И ты... ахъ какой ты тогда былъ!

— Сорви-голова? Гм... я и теперь... А впрочемъ, нѣтъ— что ужъ теперь! Самая малость во мнѣ теперь осталась, да и то больше въ родѣ какъ напоминаніе...

— Ахъ, бѣдненькій!

— Да, но тогда.. тогда я дѣйствительно... Большихъ усилій мнѣ стоило, чтобъ вывести тебя... на правый путь! Ахъ какія это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругъ поднялась и поцѣловала меня въ лобъ.

— Это тебѣ за то, что ты помнишь... дурной!

— Нетолько это помню, но даже и еще многое вспомнилъ. Помнишь, въ тотъ день у васъ за обѣдомъ подавали супъ-разсольникъ изъ щиплять, а мама положила тебѣ въ тарелку пупочки?

— Ахъ, я обожала пупочки!

— Да, ты любила ихъ, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупочки и повинуюсь влеченію сердца, ты взяла и переложила пупочекъ въ мою тарелку... я никогда, никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что мама замѣтила это и послѣ обѣда ужасно меня забранила?

— Ужели? и ты скрыла отъ меня это?

— Заѣмъ говорить! Я знала, что это тебя огорчить.

— Изъ-за меня пострадала! Нѣтъ, воля твоя, а я не могу. Я еще разъ поцѣлую тебя за это!

И поцѣловаль.

Такимъ образомъ, пролетѣло полчаса; но къ концу этого срока les riens souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдругъ совсѣмъ изсякли. Былъ даже такой страшный моментъ, когда мнѣ показалось, что я зѣвнула. Къ счастью, Наташа не замѣтила моей невѣжливости, потому что она въ это время отвернулась... тоже чтобы зѣвнуть. Но вдругъ она оживилась.

— А вѣдь я объ чемъ-то собиралась тебя попросить... ахъ, какая я глупенькая! объ главномъ-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филовея Иваныча помнишь?.. ахъ, ну да того самаго Филовея Иваныча, который при Теодорѣ былъ воспитателемъ?

— Длинный такой?

— Совсѣмъ онъ ужъ не такой длинный... ты всегда cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...

— Ну, словомъ сказать, того, съ которымъ покойный Simon однажды распорядился...

— И это ты преувеличиваешь: совсѣмъ это не такъ было. Конечно, Филовей Иванычъ былъ тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочемъ, Simon былъ всегда къ нему несправедливъ... Ah! les hommes sont si méchants!

Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не двѣ, а ровно четыре слезинки выкатились изъ ея глазокъ.

— Ну, не огорчайся, душа моя, вѣдь я пошутилъ! постарался я утѣшить ее:—говори же, что нужно тебѣ для Филовея Иваныча?

— Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. Даже Simon — и тотъ отдавалъ ему справедливость. Такъ что, ежели Теодоръ имѣетъ христіанскія правила, то это именно только благодаря ему.

— Ну-съ, такъ чѣмъ же я могу быть ему полезнымъ?

— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при вашей литературѣ!

— Какъ это—при литературѣ?  
— Ну, да, мѣсто какое-нибудь... ты это можешь, souzint  
онъ говорилъ мнѣ, что ты все, все можешь!

— Развѣ онъ пишетъ?  
— Ахъ, онъ ужасно пишетъ! онъ цѣлый день, цѣлый  
день пишетъ! и даже одинъ самъ съ собою декламируетъ!  
Нѣкоторое онъ и мнѣ читалъ... право, нисколько не хуже  
„Бѣдной Лизы“... Голубчикъ! прочти!

При этой просьбѣ, les vieux souvenirs окончательно ис-  
чезли. Мнѣ вдругъ показалось, что я очутился въ какомъ-  
то темномъ складѣ, гдѣ грудями навалены куколки, ку-  
колки, куколки безъ конца. Отличныя куколки, лучшія въ  
своемъ родѣ. Одѣты — прелесть; ручки, ножки, личики,  
грудки—восторгъ; даже звуки какіе-то издають, дѣлають  
нѣкоторыя несложныя движенія головкой, глазами. Сло-  
вомъ сказать, любую изъ нихъ посадилъ бы въ гостиную  
и любовался бы, какъ она глазки заводитъ. И вдругъ,  
одна изъ куколокъ встаетъ и говоритъ: покажите, пожа-  
луйста, какъ мнѣ пройти въ литературу! это я не для  
себя прошу... фи! а для Филоея Иваныча! И при этомъ  
начинаетъ лепетать: „Бѣдная Лиза“, „Марьина Роща“,  
„Сарента“, „Вадимъ“... Куколка, куколка! да вѣдь ты кар-  
тонная! какъ это язычекъ твой выговорилъ: ли-те-ра-ту-  
ра? — Ахъ это не я, это Филоея Иванычъ... Какъ тутъ  
быть? Начать объяснять, что литература есть нѣчто серьез-  
ное и совсѣмъ не кукольное — не повѣрить; доказывать,  
что „Бѣдная Лиза“ не представляетъ достаточнаго мѣрила  
для сравненія—не пойметъ...

Но тѣмъ-то именно и сильны куколки, что они ничего  
не понимаютъ. И ежели при этой силѣ непониманія, пай-  
дется мудрецъ, который овладѣетъ ею и добьется, что ку-  
колка что-нибудь затвердить, то она, въ пользу этого за-  
тверженнаго, способна будетъ на всякіе доступные куколкѣ  
подвиги. Будетъ съ утра до вечера повторять одно и то же



слово, будетъ сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непременно, въ-концѣ-концовъ, чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудить сдѣлать, то заставить наобъщать съ три короба, налгать.

— Послушай, Наташа, неужели ты не знаешь, что литература—это своего рода республика, въ которой такихъ мѣсть, куда бы можно было „пристроить“, не полагается? спросилъ я вмѣсто отвѣта.

И нарочно употребилъ такой оборотъ рѣчи, чтобъ она не сразу могла понять. Я думалъ: надо ее поразить чѣмъ-нибудь помудренѣе, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучить, перескажетъ Филовею, и, разумѣется, перевретъ. Выйдетъ сначала одно недоразумѣніе, потомъ еще недоразумѣніе, потомъ десятки, сотни недоразумѣній—смотришь, анъ время-то и прошло. Одна-кожь, она даже и этой преспективы меня лишила.

— Значить, вакансій въ эту минуту нѣтъ? воскликнула она съ неподдѣльною горестью.

— Нетолько въ эту минуту... ахъ, пойми меня, ради Христа! ни въ эту, ни въ другую минуту, никогда вакансій не полагается! Отъ природы ихъ нѣтъ.

— Ахъ, ты меня обманываешь!

— Да нѣтъ же! если мнѣ не вѣришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.

— Теодоръ, напротивъ, говоритъ, что у васъ безпрестанно мѣста открываются. Да это такъ и должно быть, потому что какъ же иначе, безъ подчиненныхъ, вы книжки бы издавали!

— Да очень просто; напишетъ кто-нибудь съ воли хорошую вещь, ее и печатаютъ!

— Ахъ, такъ вѣдь у него—много! Онъ цѣлый большой сундукъ съ собою привезъ!

— Ну, вотъ ты ему и скажи: пускай принесетъ. Конечно, не сразу весь сундукъ, а понемножку.

— И ты сейчасъ ему жалованье положишь?

Мнѣ вдругъ надоѣло. Мнѣ даже показалось, что совсѣмъ это не куколка, а просто замоскворѣцкая тетѣха, которая дремлетъ и во снѣ верѣвки вьетъ.

— Ну да! назначу! назначу! крикнулъ я, чтобъ какъ-нибудь покончить.

Однакожь, мой тонъ огорчилъ ее.

— Вотъ ты и разсердился! пролепетала она сквозь слезки:—сейчасъ былъ милый, а теперь... дурной! А я все-таки тебѣ благодарна. Хоть разсердился, а доброе дѣло сдѣлалъ. И я доброе дѣло сдѣлала... хоть и разсердила тебя.

Съ этими словами, она встала и начала прощаться.

— Ну, до свиданія, мой родной. Благодарю, что поблаговалъ. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за Филовея Иваныча.

— Чтожь ты заспѣшила! скажи, по крайней мѣрѣ, что предполагаешь дѣлать лѣтомъ? вѣдь Монрепо-то ужъ нѣтъ?

— Да, ужъ нѣтъ! И какъ мнѣ было грустно, еслибы ты зналъ, когда Теодоръ написалъ, что наше милое Монрепо продано... Вѣдь тамъ мой добрый, милый Simon...

Опять *les vieux souvenirs*. И слезки, счетомъ двѣ.

— Теперь тѣснясь какъ-нибудь у Теодора, а тамъ... Скучно у васъ, *cousin!* Нѣтъ, что ни дѣлайте, а все-таки не Парижъ! Нѣтъ, ты представь себѣ: Парижъ, да если при этомъ *Henri-Cinq*—вѣдь это что-то волшебное!

— Ну, этого-то, пожалуй, не дожدهшься!

— Нѣтъ, это непременно будетъ. Вообрази себѣ, какой однажды со мной случай былъ. Стою я въ *la Chapelle* и молюсь. И вдругъ—сама не знаю какъ—запѣла: *Vive Henri quatre! vive ce roi vertgalant!* И съ тѣхъ поръ я вѣрю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся къ *Henri Cinq*.

— А покуда, тебя за нѣнье, конечно, *au violon?*

— Нѣтъ, тамъ на это сквозь пальцы смотреть. Не знаютъ, что будетъ впереди, ну, и пропускаютъ. А, не правда ли какая прелестная пѣсенка? Впрочемъ, и Marseillaise... quel chant grandiose!

— Ты, конечно, и Марсельезу пѣла!

— Я, cousin, все пѣла. Однажды я даже Паризьбену пѣла въ честь герцога Омальскаго.

— Прекрасно; такъ и надо. Любезность—прежде всего. Впрочемъ, что жъ мы о пустякахъ болтаемъ; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодоромъ?

— Я—счастливейшая изъ матерей. Теодоръ—сокровище! Представь себѣ, отдалъ мнѣ свою комнату, а самъ съ Филоеємъ Иванычемъ расположился на бивакахъ въ кабинетѣ. Но знаешь ли что? мнѣ кажется, онъ черезчуръ ужъ усерденъ. Все докладываетъ. Безпрестанно, съ утра до глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ, часовъ въ десять, придетъ ко мнѣ, пока я еще въ постелѣ, и его благословлю—я исчезнетъ на цѣлый день.

— За то и превознесенъ будетъ.

— Да, онъ пойдетъ; кажется, это одво его и поддерживаетъ. Филоеѣй Иванычъ такъ объ немъ выразился: хотя нынѣ для Федора Семеныча и не безъ труда, но за то сколь сладко будетъ впоследствии держать въ своихъ рукахъ судьбы возлюбленнаго отечества! Вотъ какъ Филоеѣй Иванычъ говорить! и точно такъ писать.

— Прекрасно.

— Очень рада, что тебѣ понравилось, потому что отъ тебя теперь все зависить. А какъ онъ читаетъ! Особенно описанія какія-нибудь: вѣтеръ, бурю — все такъ и слышишь! Ахъ, только бы ты ему жалованье поскорѣ назначилъ!

— Постараюсь, мой другъ. Да что ты все объ Филоеѣй Иванычѣ! тебѣ-то у насъ скучно — вотъ что меня безпокоитъ!

— Нѣтъ, я не скучаю. Отъ тебя къ Auclair поѣду, отъ Auclair къ Andrieux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ Теодоръ обѣщалъ насъ въ Зоологическій садъ свозить, ежели успѣеть отдѣлаться.

— А вчера что дѣлали?

— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ купили картъ и съ Филоеемъ Иванычемъ въ вистъ съ двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно.

— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то прѣзжай ко мнѣ, а не то такъ и просто пришли за мной. Я и въ Демидовъ садъ, и въ Ливадію, и на Крестовскій... Только вотъ Филоей Иванычъ... неужто и онъ будетъ участникомъ нашихъ экскурсій? ну, зачѣмъ онъ намъ?

— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

— То есть милый, хотѣла ты сказать?

— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня маман забранила! Я цѣлыхъ три дни думала, что я... погибая! Ну, такъ до свиданія; спѣшу къ Auclair! непременно, непременно за тобой пришло! милый!

Она три раза поцѣловала меня, и вдругъ—не могу даже представить себѣ, что ей вообразилось—перекрестила меня и сказала: вотъ такъ! Потомъ въ припрыжку побѣжала по направленію къ передней, и, не добѣжавъ, опять остановилась.

— Ахъ да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня такъ и похолодѣло: сейчасъ, думаю, денегъ попросить. Однако, на этотъ разъ обошлось благополучно. Какъ истинная куколка, она постояла немного, и, не досказавши начатаго, продолжала:

— Нѣтъ, впрочемъ, это когда-нибудь послѣ. Такъ до свиданія, голубчикъ!

И черезъ минуту, она ужъ дѣйствительно спускалась по лѣстницѣ.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого я провель въ чадѣ

безумныхъ удовольствій. По нѣскольку разъ перебивалъ и въ Демидронѣ, и въ Ливадіи, и на Крестовскомъ и даже въ Баваріи. Но Фединьку не видалъ ни разу. Повидимому, онъ былъ очень доволенъ, что свалилъ на меня обузу развлекать и увеселить Наташу и своего бывшего воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мнѣ эти удовольствія стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по родственному, обязывался безъ ропота.

Въ это же время, я долженъ былъ возиться и съ Филоеемъ Дроздовымъ и выслушивать кроткія напоминанія Наташи относительно скорѣйшаго принсканія ему мѣста въ литературѣ. Очень скоро, весь чемоданъ произведеній Филоеа Иваныча очутился у меня на квартирѣ. Тутъ были: и „Мысли у подножія памятника Минину и Пожарскому“, и „Ночь съ милой въ лѣсу“ романъ въ двухъ главахъ, и „Не стая вороновъ слеталось, или Ай да нигилисты!“ водевилъ въ двухъ дѣйствіяхъ. Разумѣется, ничего этого я не читалъ и не намѣренъ былъ читать, но Дроздовъ все таскалъ, все таскалъ, и наконецъ, совсѣмъ обратилъ мою квартиру въ свиной хлѣвъ.

Однимъ словомъ, никогда я такъ несосно, глупо-хлопотливо не проводилъ времени.

И вотъ, однажды, вечеромъ, когда мы втроемъ наслаждались въ Демидронѣ, Nathalie отвела меня въ сторону и сдѣлала страшное признаніе.

— Cousin, сказала она:—у меня есть секретъ, который я должна тебѣ сообщить.

— Ахъ, голубушка ты моя! куколка да еще съ секретомъ—вѣдь это прелесть!

— Нѣтъ, не шути этимъ! это секретъ... ахъ, это очень, очень важный секретъ!

— Въ чемъ же дѣло? скажи! не мучь!

— Я хочу...

Она остановилась и крѣпко сжала мою руку, на которую

опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человекъ, защитилъ ее, слабенькую куколку, противъ нея самой.

— ... выйти замужъ, прошептала она, наконецъ, потупляя глазки.

Я думалъ, что я сплю. Не знаю почему, но среди цѣлой массы предположеній о путяхъ, коими Провидѣнiе ведетъ куколкѣ, именно одно это никогда не приходило мнѣ въ голову.

— За кого? спросилъ я, однакожь.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который въ эту самую минуту всѣмъ своимъ рыломъ такъ и впился въ дѣвицу Филиппо.

— Единька знаетъ объ этомъ?

— Нѣтъ, покуда... Впрочемъ, я и не слѣшу ему объявить. Знаешь ли, мнѣ кажется, что онъ будетъ противъ этого брака?

— И мнѣ тоже кажется.

— Но вѣдь я — мать! Я знаю, что дѣти должны почитать своихъ родителей. Наконецъ, я не обязана сыну отчетомъ. И ежели понадобится, то знаю какъ нужно поступить.

— Неужели ты захочешь скандала?

— Ахъ нѣтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ его посадили въ смиренный домъ, покуда онъ не раскиснетъ.

Я взглянулъ на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ея лицѣ. И чтожь! — ничего! куколка, ну, просто куколка — и ничего больше.

— Чѣмъ же вы будете жить?

— Мы рассчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филоеѣй Иванычъ тебѣ передалъ, и положишь ему жалованье, мы найдемъ маленькую квартирку и сождемъ тамъ себѣ гнѣздышко.

Во второй разъ я подумалъ, что сплю. Со страхомъ,

почти съ ужасомъ смотрѣлъ я на нее, а она, между тѣмъ, продолжала:

— Я знаю, что ты очень большаго жалованья на первый разъ дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но ты—тысячи двѣ-три... пожалуйста, три! подумай какъ мнѣ будетъ трудно! Ахъ, я ничего, ничего не умѣю! Никогда я не занималась этимъ, а теперь надо будетъ вездѣ самой. И заказать обѣдъ, *et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les frotteurs...* enfin tout, tout, tout! Конечно, Филоея Иванычъ будетъ меня руководить, но все-таки представь: вездѣ сама!

Я молчалъ въ нѣмомъ изумленіи, а она все ворковала, перескакивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. И, наконецъ, заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя на счетъ жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроить!

Такимъ образомъ, къ прежней массѣ пустяковъ, прибавились еще новые. Но пустяки имѣютъ ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растопталъ „Ночь съ милой въ лѣсу“ и положительно до бѣлаго дня проворочался съ боку на бокъ, передумывая, предупредить ли Фединьку или не предупреждать.

Наконецъ, я рѣшилъ предупредить. Можетъ быть, думалось мнѣ, какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, убѣдитъ, найдетъ средство устроить Филоею... Всплакнетъ куколка, выронитъ двѣ слезки, ну, четыре, ну, шесть—и все пройдетъ.

Руководясь этими мыслями; я отправился въ одиннадцать часовъ утра въ то мѣсто, гдѣ онъ обыкновенно докладываетъ. Онъ былъ уже тамъ и сейчасъ же вышелъ ко мнѣ, нѣсколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, но не побѣжденный и ни мало не унывающій. Въ короткихъ словахъ и объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Наташей.

— Я давно это угадывалъ, сказалъ этотъ получившій христіанскія правила молодой человекъ, ни мало не смутившись моимъ разсказомъ.

— Но что же ты предполагаешь дѣлать?

— Ровно ничего. Если это устраиваетъ татап... съ Богомъ...

— Однако, чѣмъ же они будутъ жить?

— Они все рассчитываютъ на какое-то жалованье, которое будто бы вы имъ обѣщали...

— Да вѣдь это, наконецъ, сказки! вѣдь это волшебное представленіе какое-то!

— Я ничего не знаю и ни во что вмѣшиваться не желаю. *J'en ai jusqu'ici* (онъ рѣзнулъ себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, какъ я могу дѣлами заниматься среди этого хаоса.

— Виолнѣ раздѣляю твои затрудненія, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмѣшаться въ это дѣло. Согласись, что оно слишкомъ близко касается тебя и что ежели Наташа въ самомъ дѣлѣ выполнить свой нелѣпый проэктъ...

— Ну, нѣтъ-съ, это не такъ-съ. Покуда татап носить имя моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы, впрочемъ, сами знаете, сколько жертвъ я принесъ и даже теперь, въ настоящее время, приношу... Но разъ, что она сдѣлала une *mésalliance*—это ужъ особая статья! Какъ ей угодно, но я тутъ не при чемъ!

— Но отчего бы тебѣ не устроить этого дѣла тихимъ манеромъ? Ты очень хорошо понимаешь, что всѣ эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову—все это миражъ... Но ты—вѣдь ты можешь! Отчего бы тебѣ не пристроить Филоѳея? Ежели тебѣ кажется не совсѣмъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ Петербургѣ, то можно бы сплавить въ провинцію...



— Человѣка, который сочиняетъ „Ночь съ милдой въ дѣсу“—благодарю покорно!

— Можно будетъ его уговорить, чтобъ онъ пересталъ. Право, мой другъ, въ провинцію? а?

— Представьте себѣ, не могу!

— Да почему же?

— Во-первыхъ, потому что я далъ себѣ слово никогда ни за кого не просить (мнѣ самому объ себѣ вѣрнѣе хлопотать, прибавилъ онъ въ скобкахъ), а, во-вторыхъ, знаете ли вы, какія у него претензіи? двѣ-три тысячи! и притомъ скорѣе три, нежели двѣ! вѣдь такіе оклады въ провинціи получаютъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это Дроздовъ-то—начальникъ!

Однимъ словомъ, какъ я ни убѣждалъ, Ѳединька пребылъ непреклоненъ. Затѣмъ, мнѣ ничего другого не оставалось, какъ пустить это дѣло на волю судьбы.

И дѣйствительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки нѣкоторой раздражительности по случаю моей медленности. Мало по малу, стала похаживать ко мнѣ и Филоѳей Дроздовъ, сначала просто „посидѣть“, а потомъ и „за справочками“. Во время этихъ собесѣдованій, мнѣ удалось, наконецъ, понять, что его не столько соблазняетъ авторская слава съ ея скудными материальными прерогативами, сколько карьера редактора.

— Наслышанъ я, говорилъ онъ—будто бы пинѣ многіи издатели нуждаются въ редакторахъ, и будто бы таковымъ мѣстамъ присвоивается приличествующее содержаніе. Такъ вотъ еслибы вы походатайствовали...

Онъ мгновенно взвивался во весь ростъ и мгновенно же преломляясь пополамъ, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филоѳей Ивановичъ! передъ кѣмъ же я буду ходатайствовать? пробовалъ я возражать.

— Передъ подлежащими лицами, всеконечно. Нипѣ

благонадежныя лица рѣдки, потребность же въ таковыхъ ощущается... А я бы, въ случаѣ надобности, и прикрыть кой-что могъ. Въ журналѣ или газетѣ, напримѣръ. Иное что-нибудь и вольнѣнко написано, но коль скоро высшему начальству извѣстно, что редакторъ здраваго ума человѣкъ, то оно и на вольныя прегрѣшенія, яко на невольныя, благомилостивымъ окомъ взглянетъ.

— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтобъ гдѣ-нибудь требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ случаевъ не предвижу.

— Стало быть, не предвидите-съ?

— Да, не предвижу.

— Ну, а относительно произведеній моихъ — какъ вы думаете, какую цѣну за нихъ можно получить?

Я долго уклонялся отъ положительнаго отвѣта, но наконецъ, убѣдился, что надежда какая-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миѣ. И вотъ, въ одно прекрасное утро я вынужденъ былъ открыть печальную истину.

Въ тотъ же день, сундукъ съ произведеніями Дроздова исчезъ изъ моей квартиры, и затѣмъ, дня три или четыре сряду, ни онъ, ни Nathalie не заглянули ко мнѣ.

Я началъ уже понемножку успокоиваться, какъ вдругъ, въ самый Петровъ день—звонокъ. Сердце мое тревожно забилося: это она, это Nathalie! Она, съ упрекомъ на устахъ, она, съ глазами, полными слезъ, она, незнающая, куда ей дѣвать этого длиннаго, длиннаго Филовея, который увязался за ея шлейфомъ и никакъ отцѣпиться не хочетъ!

Дѣйствительно, это была она, но—о чудо!—не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какую я видѣлъ ее при первомъ нашемъ свиданіи послѣ ея пріѣзда изъ-за границы. Только платице другое надѣла, но кажется, еще лучше, шикарнѣе прежняго.

Опять мы поцѣловались и опять выступили на сцену *les pieux souvenirs*. Какъ мы заблудились, какъ она украдкой бросила мнѣ въ тарелку пупочекъ. Объ Филооѣѣ ни полслова, какъ будто его на свѣтѣ не было. Даже желудочекъ опять ручкой потерла (плутовка замѣтила, что движеніе это понравилось мнѣ) и попросила покушать.

И вдругъ...

— *Cousin* не можешь ли ты... ахъ, я вѣчно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

— Сколько тебѣ нужно?

— Вотъ видишь ли, нашъ курсъ началъ поправляться... и даже очень-очень поправился... Такъ мнѣ совѣтовали воспользоваться этимъ... тысячки двѣ—можно?

Скажите по совѣсти: можно ли было устоять противъ просьбы, выраженной въ такой прелестной формѣ? Но, кромѣ того, и еще: *Nathalie* хочетъ воспользоваться поправкой курса и только поэтому занимается; но что если она сообразитъ, что курсъ еще больше можетъ поправиться, да на этотъ случай еще тысячки двѣ накинеть? Нѣтъ, лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и поступилъ. Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежатъ всеѣмъ непужныя двѣ тысячи рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ деньги Наташѣ.

Но когда я все это выполнилъ—вообразите мой испугъ! Не успѣлъ я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ принять благодарно-родственный поцѣлуй, какъ въ комнатѣ уже не было никого. Въ одинъ мигъ, *Nathalie* исчезла, словно растаяла въ воздухѣ...

На другой день утромъ я получилъ отъ *Фединьки* письмо:

„Мама, возвратясь отъ васъ, сейчасъ же собралась и уѣхала за границу вмѣстѣ съ извѣстнымъ лицомъ. Не знаю, что изъ этого выйдетъ, но теперь я, по крайней мѣрѣ, заниматься свободно могу“.

А вечером—телеграмма.

„Остановилась на сутки въ Псковѣ. Счастлива. Великодушный другъ! благодарю. Nathalie Drozdorff“.

Я не удержался, побѣждалъ къ Оединкѣ и передалъ ему телеграмму, въ особенности указавъ на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовою.

— Ну, и прекрасно! воскликнулъ онъ: — по крайней мѣрѣ, теперь...

И какъ молодой человекъ, обладающій христіанскими правилами, набожно перекрестился.

На другой день, 1-го іюля, я проснулся утромъ въ самомъ радостномъ настроеніи духа. Я всему былъ радъ: и тому, что мнѣ не придется ѣхать „гулять“ съ родственниками, и тому, что мои двѣ тысячи косвеннымъ образомъ послужили для поддержанія основъ... Но больше всего тому, что въ теченіи цѣлаго іюня со мной не случилось никакой „внутренней политики“.

## ПЕРВОЕ АВГУСТА.

Послѣ родственной суматохи, которая преслѣдовала меня въ теченіи цѣлаго іюня, іюль прошелъ вяло, въ какомъ-то томительномъ отчужденіи. Тотъ, кто, подобно мнѣ, провелъ этотъ мѣсяцъ въ Петербургѣ, среди неусыпающихъ дождей и бодрствующихъ дворниковъ, тотъ пойметъ снѣдавшую меня тоску. Но я ужъ и тому былъ радъ, что и въ іюлѣ никакой внутренней политики не случилось... Слава Богу! слава Богу!

Говоря по совѣсти, я лично не имѣю никакихъ причинъ опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцаръ, и дворники, не токмо за страхъ, но и за совѣсть, могутъ свидѣтельствовать о моей невинности; ремесломъ своимъ занимаюсь открыто; за хорошія дѣла—жду помилованія, за среднія—прошу не взыскать, за худыя—благодарю и приѣмлю и ни мало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птицъ не нугаю. Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ такого рода „поведеніе“, которое не только въ Уложеніи о наказаніяхъ, но даже въ брошюрахъ одесскаго профессора Цитовича не предусматривается. Стало быть, ходи вольнымъ аллюромъ—и шабашъ.

Однакожь, какъ я ни стараюсь приспособить свою по-

ступь къ вольному аллюру, но успѣха достигь не могу. Существуют причины, которыя положительно всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ обращаютъ въ ничто; и, къ стыду моему, я долженъ сознаться, причины эти лежатъ не столько во внѣшней обстановкѣ, среди которой я живу, сколько во мнѣ самомъ.

Во-первыхъ, я слишкомъ ужь давно живу, и это вводитъ и меня самого и другихъ въ заблужденіе. Когда долго живешь на свѣтѣ, то непремѣнно думаешь, что нивѣсть сколько нагрѣшилъ. И утопіи, и филантропіи, и фаланстеры, и даже военныя поселенія — все тутъ было! Однихъ „книжекъ“ сколько—это ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать! Какъ съ этимъ быть? Раскаяться—лѣнь, сдѣлать бывшее небывшимъ—невозможно; стало быть, приходится существовать, сознавая себя въ положеніи стараго волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело. Конечно, когда кругомъ царствуетъ тишина, когда дворники бездѣйствуютъ, а городовые дѣлаютъ подъ козырекъ—тогда даже мечты о военныхъ поселеніяхъ кажутся пустяками. Вздоръ да и все тутъ! Но когда...

Да, тишина—великое дѣло. Человѣкъ отъ природы такъ созданъ, что предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, а потому онъ инстинктивно олицетворяетъ въ тишинѣ тотъ прекрасный удѣлъ, который на обыкновенномъ языкѣ называется счастіемъ. Ежели человѣка не безпокоятъ — онъ счастливъ, а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ, что и завтра его безпокоить не будутъ—у него ужь вырастаютъ крылья. Гордо и самоувѣренно идетъ онъ по стезѣ, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомнѣвается, что всѣ эти пустяки суть дѣйствительно пустяки, и, въ качествѣ таковыхъ, непремѣнно сойдутъ ему съ рукъ. И сходять. Какъ хотите это назовите: недоразумѣніемъ, послабленіемъ, ущущеніемъ или просто вол-

шебствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ людей звѣзда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взмысаній. Не даромъ еще въ прошломъ столѣтїи Сумароковъ возглашалъ:

Ты, фортуна, украшаешь  
Злодѣяпія людей,  
И мечтанія мѣшаешь  
Разсмотрѣнїи жизни сей...

Сидишь себѣ, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь Россїю цѣлою сѣтью военныхъ поселеній. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутываніе откликнется для тебя „разсмотрѣніемъ жизни сей“.

Но какъ только повѣтъ со стороны холодкомъ и зашевелиятся дворники—конецъ счастью. Человѣкъ начинаетъ озираться, прислуживаться, и въ сердце его заползаетъ тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки на лицо, знайте, что немедленно вслѣдъ за ними ливится и потребность „разсмотрѣнїи жизни сей“. Потребность, нерѣдко ничѣмъ не мотивированная, но въ то же время до того естественная, что отдѣлаться отъ нея нѣтъ никакой возможности. Сиди и разсматривай, доколѣ не усмотришь. А ежели, несмотря на самыя искреннія усилія, все-таки ничего не усмотришь, то, пожалуй, и еще того хуже: непременно хотъ что-нибудь да наклепнешь на себя. И наклепавши, тѣмъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.

И такъ, первая причина, убивающая во мнѣ вольный аллюръ, есть причина чисто личная, заключающаяся въ томъ, что я слишкомъ давно живу.

Вторая причина—болѣе общая. Мы, русскіе, какъ-то черезчуръ ужъ охотно боимся и притомъ боимся всегда съ увлеченіемъ. Начинаемъ мы бояться почти съ пеленокъ; сначала, боимся родителей, потомъ—начальства. Иногда

даже Бога боимся, но рѣдко: больше изъ учтивости, при собесѣдованіяхъ съ лицами духовнаго вѣдомства. Я помню, что еще въ школѣ начальство старалось искоренить во мнѣ начальственную боязнь. Чего вы боитесь? говорило оно мнѣ:—намъ не страхъ вашъ нуженъ, а любовь и довѣріе. Все равно какъ въ пѣснѣ поется: *мнѣ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь...* А я и за всѣмъ тѣмъ продолжалъ бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не понималъ, что быть откровеннымъ и любящимъ ребенкомъ выгодно—его никогда безъ послѣдняго кушанья не оставляютъ—понималъ я и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не могъ. Идешь и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочить изъ-за угла гувернеръ—и поминай какъ звали!

Разумѣется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей національности. Я знаю, что это дурная привычка—и ничего болѣе. Но она до такой степени крѣпко засѣла въ насъ, что побѣдить ее ужасно трудно. Ужъ сколько столѣтій русское государство живетъ славною и вполне самостоятельную жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто надъ нами тяготѣетъ монгольское иго, или австріякъ насъ въ плѣну держитъ. Робѣемъ, корчимся, прислушиваемся ко всякимъ шорохамъ, смущаемся при выходѣ ретирадныхъ брошюръ, раскаиваемся, клепаемъ на себя и на другихъ; однимъ словомъ, мнимъ себя до такой степени послѣдними изъ послѣднихъ, что изъ всего Державина содержимъ въ памяти только одинъ стихъ:

А завтра — гдѣ ты, человекъ?

И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ школьной семьи твердитъ намъ: не страхъ вашъ нуженъ, а довѣріе и любовь!

Нигдѣ такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ;



нигдѣ (даже въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ) такъ часто не прорывается фраза: ахъ, какъ это вы не боитесь! нигдѣ такъ скоро не теряютъ присутствія духа, такъ легко не отрекаются. Словомъ сказать, нигдѣ не боятся такъ натурально, свободно, почти художественно.

Но что всего хуже: свойственный намъ, русскимъ, страхъ вовсе не принадлежитъ къ числу такъ-называемыхъ спасительныхъ. Еслибъ еще это было такъ, то, конечно, лучшаго бы и желать не надо. Спасительный страхъ научаетъ терпѣнію—вотъ неоцѣненная польза, имъ приносимая. Если видишь, напримѣръ, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай пока вѣдомство путей сообщенія не устроитъ здѣсь безопаснаго спуска. Если нужно тебѣ переправиться черезъ рѣку, то не дерзай искать брода, но увѣдомь о своей нуждѣ подлежащую земскую управу и ожидай пока она устроитъ мостъ или паромъ. Ежели встрѣтишь человѣка, который будетъ приглашать тебя, въ качествѣ попутчика, въ страну утопій, то жди покуда не будетъ выдана подорожная. Таковъ „спасительный“ страхъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ предписывается во всѣхъ предначертаніяхъ. Къ сожалѣнію, совсѣмъ не таковъ нашъ общеупотребительный, русскій страхъ. Увы! подъ гнетомъ его мы ни мало не научаемся терпѣнію, а просто-на-просто поремъ горячку и мечемся. И вслѣдствіе этого, не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглавъ лѣземъ на дно оной.

Виновать ли я лично въ томъ, что эта хроническая боязнь обуреваетъ меня? конечно, виновать, если взять въ соображеніе, что моя боязнь есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ослушаніе. Съ отроческихъ лѣтъ твердитъ мнѣ начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то есть выказываю отвагу именно въ такомъ пунктѣ, гдѣ ея совсѣмъ не требуется—ясно, что я виновать. Но съ другой стороны, какъ посмотрю я кругомъ—развѣ я одинъ

боюсь? Нѣтъ, всѣ боятся, всѣ до одинаго. Столько у насъ, въ последнее время, развелось угрозъ, что боязнь сдѣлалась, даже чѣмъ-то въ родѣ развлеченія, почти занятіемъ. Еслибъ я не боялся, то, навѣрное, въ скоромъ времени совсѣмъ сгибъ бы отъ праздности. А теперь я все-таки чѣмъ-нибудь занятъ. Во-первыхъ, стараюсь угадать угрозу, во-вторыхъ, придумываю способы оборониться отъ нея, устроить такъ, чтобъ она ударила по сосѣду, а не по мнѣ. Для ума пытливаго тутъ пищи безъ конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаяваешься и, наконецъ, возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь—анъ въ результатѣ нетолько время прошло, но и самое представленіе объ угрозѣ куда-то испарилось, словно его совсѣмъ не было...

И такъ, вотъ въ этой-то смутной боязни прошелъ для меня весь іюль мѣсяцъ.

Я былъ одинъ, а одиночество дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи особенно деморализующимъ образомъ. Въ одиночествѣ, каждая филантропія принимаетъ размѣры пособничества, каждое военное поселеніе—размѣры потрясенія основъ. Конечно, и это бы ничего (повторяю: и въ кварталѣ извѣстно, что пустыки все это!), но что дѣйствительно ужасно — это воспитываемая одиночествомъ склонность къ примѣненію соответствующихъ статей Уложенія о наказаніяхъ ко всѣмъ этимъ пустыкамъ. Сидишь одинъ одинешенекъ, прислушиваешься къ окрестнымъ шорохамъ—и примѣняешь. Такъ что ежели при этомъ въ комнатѣ еще темно, то положительно дѣлается жутко. Въ ушахъ раздается незаслуженное: фюить! и непременно всѣ самые глупые романы, всѣ безшабашнѣйшія метафоры, какими когда-либо украшались страницы русскихъ хрестоматій—все такъ и ползетъ изъ всѣхъ захолустьевъ памяти. Тутъ и „ямщикъ лихой, онъ всталъ съ полночи“, и „сабля моя стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по

частоколу“—все тутъ. И въ заключеніе—„разсмотрѣніе жизни сей“, какъ неизбѣжный продуктъ этихъ романсовъ. Глухо, неестественно, несбыточно до очевидности, но въ то же время какъ-то мрачно-правдоподобно.

Разумѣется, я принималъ всѣ мѣры, чтобы избѣжать одиночества. Съ утра уходилъ къ Палкину, слушалъ машину, любовался на стерлядей, плавающихъ въ бассейнѣ, и спрашивалъ, сколько вонъ та стоитъ и сколько вотъ эта. Потомъ, отправлялся въ зоологическій садъ и вмѣстѣ съ кадетами смотрѣлъ на кормленіе звѣрей; потомъ, устремлялся къ „Медвѣдю“, гдѣ съ истинно-дикимъ наслажденіемъ глоталъ протухлый воздухъ; а вечеромъ—въ Демидронѣ, гдѣ дѣлалъ умственные выкладки, сколько противъ прошлаго года прибавилось килограммовъ въ дѣвицѣ Филиппѣ. Затѣмъ, возвращался поздно вечеромъ домой, я съ любопытствомъ всматривался въ физиономію швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапнаго, и ежели прочитывалъ только заспанность, то ложился въ постель и старался заснуть съ такимъ расчетомъ, чтобы Уложеніе о наказаніяхъ ни ночью какимъ видомъ не отравило моихъ сновидѣній.

Къ сожалѣнію, какъ ни дѣйствительно представлялись эти мѣры, но досуга для „разсмотрѣнія жизни сей“ все-таки оказывалось болѣе, нежели достаточно. Къ тому же, въ послѣднее время, возникъ для меня еще новый мотивъ для разсмотрѣній.

Дѣло въ томъ, что по поводу моей литературной дѣятельности возникаютъ нѣкоторые обвинительные слухи, которые, съ теченіемъ времени, приобрѣтаютъ все болѣе и болѣе острый характеръ. Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушіи, требуютъ, чтобы я повелъ дѣло на чистоту и показалъ свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дѣйствуютъ на меня болѣзненно. Во-первыхъ, я вообще избѣгаю разговоры о своей личности, и тѣмъ

болѣе разговоръ печатныхъ, которые имѣютъ свойство привлекать, въ качествѣ невольнаго посредствующаго лица, публику; во-вторыхъ, чтожь это, въ самомъ дѣлѣ, за требованіе такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? развѣ у обывателей полагаются знамена?..

Тѣмъ не менѣе, я не желаю прикидываться ни равнодушнымъ, ни презирающимъ. Говорю прямо: окрики эти трогаютъ меня. Я слишкомъ давно и слишкомъ дѣятельно принимаю участіе въ русской литературѣ, чтобы имѣть возможность разыгрывать роль посторонняго зрителя относительно жизненныхъ явленій вообще, а стало быть и относительно дѣлаемыхъ по моему поводу оцѣнокъ. Но этого мало; писанія мои до такой степени проникнуты современностью, такъ плотно прилаживаются къ ней, что ежели и можно думать, что они будутъ имѣть какую-нибудь цѣнность въ будущемъ, то именно и единственно, какъ иллюстрація этой современности. Поэтому, всѣ характерные признаки ея необходимо должны оказывать на меня извѣстное дѣйствіе. Тщетно усиливался бы я замкнуться въ самомъ себѣ, тщетно старался бы не видѣть и не слышать: лай самой ледащей собаченки, ежели онъ повторяется регулярно, вполне достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратить въ ничто мое насильственное равнодушіе. Это до такой степени вѣрно, что даже люди, желающіе познакомиться съ моимъ знаменемъ—и тѣ ни на что другое не бьютъ: ни на логику, ни на софизмъ, а именно только на раздражающее дѣйствіе, которое долженъ оказывать періодически возобновляемый лай на человѣка, связаннаго крѣпкими узами съ современностью, и потому вынуждаемаго время отъ времени являться съ публичными отчетами объ ней.

Начну съ обвиненія въ двусмысленности или, иначе, въ двоедушіи, а еще проще—въ обманѣ. Говорятъ, будто я (и конечно, съ умысломъ) такую особенную манеру писать

изобрѣль, которая постоянно вводитъ въ заблужденіе. Кого-же, однако, я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то предположеніе это не имѣетъ и тѣни правдоподобія. Я дѣйствую въ русской литературѣ больше тридцати лѣтъ, и изъ нихъ около двадцати пяти лѣтъ, быть можетъ, даже слишкомъ часто напоминаю о себѣ читателямъ. Мнѣ кажется, что этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, и чтобы я не имѣлъ надобности въ дополнительныхъ объясненіяхъ и подчеркиваньяхъ. И дѣйствительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а въ особенности съ тѣми намѣреніями, которыя стоятъ у меня на первомъ планѣ, что я просто на просто ни спрятаться за псевдонимомъ, ни притвориться не самимъ собой не могу. И я думаю, что ежели читатель такъ легко узнаётъ меня, то причина этого заключается не столько въ манерѣ моихъ писаній, сколько въ ихъ содержаніи. Такъ что еслибы я, напримѣръ, позволилъ себѣ порицать добродѣтель и возвеличивать порокъ, то я убѣжденъ, что, несмотря ни на какія „манеры“, публика поняла бы, что я сдѣлалъ дурной поступокъ и отвернулась бы отъ меня.

Не надо забывать, что русскій писатель вообще (а въ томъ числѣ, конечно, и я) имѣетъ дѣло съ очень ограниченнымъ кругомъ читателей, который, право, не такъ-то легко объегорить „манерами“. Въ средѣ этой есть люди, симпатизирующіе мнѣ, но пайдется достаточно и такихъ, которыхъ одно напоминаніе обо мнѣ приводитъ въ раздраженіе. Ужели и эти симпатіи, и эти ненависти имѣютъ источникомъ одно недоразумѣніе? По моему, это уже слишкомъ явная бессмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими „мане-

рами“ обмануть начальство—упаси Богъ! Кромѣ того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности въ отношеніи къ начальству, я положительно убѣжденъ, что начальство понимаетъ мои желанія столь же ясно, какъ и публика. Оно видитъ мое усердіе и сознаетъ, что если я повремениамъ заблуждаюсь, то не по обдуманному заранѣе умыслу, а по простогѣ душевной и изъ желанія пользы ближнему. Сверхъ того, оно знаетъ, что хотя существованіе такого писателя, какъ я, и не приноситъ большой славы отечеству, но оно и не безчеститъ его, а стало быть во всякомъ случаѣ законами не возбраняется. Если же и можно заподозрить меня въ томъ, что я не всегда выкладываю все, что у меня на душѣ, то и въ этомъ начальство усматриваетъ не двоудушіе и обманъ, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу въ жертву на алтарь отечеству. И, по соображеніи всѣхъ этихъ умотрѣній, не находя достаточныхъ поводовъ для принятія мѣръ строгости, оно предоставляетъ мнѣ спокойно заниматься моимъ ремесломъ.

И не отрицаю, что въ писаніяхъ моихъ нерѣдко встрѣчаются вещи довольно неожиданныя, но это зависитъ отъ того, что въ любомъ курсѣ реторики существуютъ указанія на тропы и фигуры, и я, какъ человѣкъ, получившій образованіе въ казенномъ заведеніи, не имѣю даже права оставаться чуждымъ этимъ указаніямъ. Есть метафора, есть метопимія, синекдоха... Наконецъ, существуютъ особія рубрики литературнаго труда, носящія названія „сатиры“, „эпиграмы“ и проч., которыя, тоже съ разрѣшенія реторики, допускаются къ обнародованію, съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, надлежащее количество экземпляровъ было представлено въ цензурный комитетъ. Теперь, сообразите: вѣдь начальство само предписало преподаваніе реторики въ казенныхъ заведеніяхъ—какимъ же образомъ оно можетъ, безъ явнаго противорѣчія съ самимъ собой и даже

безъ явной несправедливости, преслѣдовать то, что разрѣшено имъ самимъ разрѣшенною риторикой?

Съ вещественнымъ доказательствомъ въ рукахъ, я могу утверждать, что все, написанное мною въ теченіи тридцати лѣтъ, совсѣмъ не „обманъ“ (на такую литературную рубрику даже въ риторикѣ Георгіевскаго указаній нѣтъ), но вполне согласно съ предписаніями риторики. Если же я, еще разъ повторяю, отличаюсь въ писаніяхъ своихъ сдержанностью, то есть даже дозволеніями риторики не рѣшаюсь вполне пользоваться, то въ глазахъ начальства это не порокъ, а достоинство. Сколько лѣтъ чловѣкъ пишетъ, и все сдерживаетъ себя—стало быть, это именно и есть испытанный и вполне достойный гражданинъ! Совсѣмъ не то, что шавки, которыя, выбѣжавъ изъ ретираднаго мѣста, въ одну минуту вылаютъ ту соринку, которая завелась у нихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содѣйствуетъ или компрометируетъ... Вотъ какъ разсуждаетъ начальство, и, по моему мнѣнію, разсуждаетъ сознательно, а не вслѣдствіе какого-то умопомраченія, которое будто бы источаютъ изъ себя мои литературныя работы.

Какъ бы то ни было, но обвиненія въ двоедушіи и обманѣ, какъ относительно публики, такъ и относительно начальства, оказываются вполне несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумѣвающими. Очень хорошо они знаютъ, объ чемъ я говорю, и ежели имъ что во мнѣ не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не безъ основанія полагаютъ, что, будь я менѣ сдержанъ—изъ этого непременно произойдетъ для меня молчаніе. Вотъ чего имъ хочется, а мнѣ этого не хочется. И какъ ни сильны бывають порой сомнѣнія, меня обуревающія, но мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ я все-таки поборю.

Но обвиненіе не довольствуется одними голословными

заявленіями и приводить въ подтверженіе очень вѣскій и доказательный, по мнѣнію его, фактъ. Оказывается, что я такъ обстроилъ свои дѣлишки, что сѣмѣль понравится даже тѣмъ, на кого я обыкновенно нападаю. Ну какъ же моль это не обманъ?

Рискуя быть заподозрѣннымъ въ самохвальствѣ, я думаю, однакожь, что дѣло объясняется гораздо проще. Несомнѣнно, что существуетъ почва, на которой читатель охотно примиряется съ обличеніями. Эта почва: добродушіе, смѣхъ и человѣчное отношеніе къ дѣйствующимъ лицамъ живописуемой комедіи. Вѣдь на свѣтѣ живутъ не одни прожженные шалопаи, которые въ смѣхѣ готовы заподозрить продерзость, а въ человѣчности — пособничество и укрывательство. Большинство смертныхъ не только видитъ въ этихъ качествахъ смягчающее обстоятельство, но и признаетъ, что человѣкъ, обладающій ими, не имѣетъ основанія сидѣть, сложа руки. Я никого не бью по щекамъ, хотя нѣкоторые „критики“ и увѣряютъ, что я только этимъ и занимаюсь. Моя рѣзкость имѣетъ въ виду не личности, а извѣстную совокупность явленій, въ которой и заключается источникъ всѣхъ золъ, угнетающихъ человѣчество. Читатель, очевидно, понимаетъ, что такова именно моя мысль, и вслѣдствіе этого мирится со мною даже тогда, когда я, повидимому, обличаю его самого. Онъ инстинктивно чувствуетъ, что я совсѣмъ не обличитель, а адвокатъ. Что я вижу въ немъ жертву общественнаго темперамента, необходимую мнѣ совсѣмъ не для потасовки, а только въ качествѣ иллюстраціи этого послѣдствія.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будутъ, и признаю ее настолько правильною, что никакихъ вариантовъ въ обратномъ смыслѣ не допускаю. Во истину, болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ болото. Жалкіе черти! какъ имъ очиститься, просвѣтлѣть,



перестать быть чертями, коль скоро ихъ насквозь пронизываютъ испаренія болота! Жалкіе и смѣшныя черти! какъ не смѣяться надъ ними, коль скоро они сами принимаютъ свое болото въ сурьёзъ, и устраиваютъ тамъ цѣлый нелѣпный міръ отношеній, въ которомъ безцѣльно кружатся и мнутяся, совершенно искренно вѣря, что дѣлаютъ какое-то прочное дѣло! Да, смѣшны и жалки эти кинутые въ болото черти, но само болото—не жалко и не смѣшно...

Есть и еще обвиненіе, касающееся того же двоедушія. Говорятъ, что я изображаю въ смѣшномъ видѣ русскихъ консерваторовъ—стало быть, я не консерваторъ; но тутъ же рядомъ, и въ столь же неудовлетворительномъ видѣ я изображаю и русскихъ либераловъ — стало быть, я и не либераль. Если первое можно было объяснить предполагаемымъ во мнѣ либерализмомъ, то чѣмъ объяснить второе? Не желаніемъ ли понравиться начальству, и тѣмъ хотя отчасти искупить продерзостные нападки на консерваторовъ?... Ну вотъ, и слава Богу!

И такъ, ежели въ писаніяхъ моихъ и обрѣтается что-либо неясное, то никакъ ужъ не мысль, а развѣ только манера. Но и на это я могу сказать въ свое оправданіе слѣдующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоитъ въ томъ, что писатель, берясь за перо, не столько озабоченъ предметомъ предстоящей работы, сколько обдумываньемъ способовъ проведенія его въ среду читателей. Еще древній Езопъ занимался такимъ обдумываніемъ, а за нимъ и множество другихъ шло по его слѣдамъ. Эта манера изложенія, конечно, не весьма казиста, но она составляетъ оригинальную черту очень значительной части произведеній русскаго искусства, и я лично тутъ ровно ни причемъ. Иногда, впрочемъ, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ея обязательности, писатель отыскиваетъ такія пояснительныя черты и краски, въ которыхъ, при прямомъ изложеніи предмета, не было бы надобности.

но которыя все-таки не безъ пользы врѣзываются въ памяти читателя. А сверхъ того, благодаря той же манерѣ, писатель пріобрѣтаетъ возможность показывать нѣкоторыя перспективы, куда запросто и съ развязностью военнаго человѣка войти не всегда бываетъ удобно. Повторяю: это манера несомнѣнно рабья, но при соотвѣтственномъ положеніи общества вполне естественная, и изобрѣлъ ее все-таки не я. А еще повторяю: она ни мало не затемняетъ моихъ намѣреній, а, напротивъ, дѣлаетъ ихъ только общедоступными.

Затѣмъ, покончивъ съ двоедушіемъ, будемъ, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лѣтъ семь тому назадъ, одинъ изъ публицистовъ „Русскаго Вѣстника“ (въ статьѣ „Наши охранители и наши прогрессисты“) уже заводилъ разговоръ на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергавъ изъ разныхъ моихъ статей „мѣстечекъ“, и лишивъ ихъ, ради аттической соли, связи съ предъидущимъ и послѣдующимъ, онъ огуломъ призналъ мою литературную дѣятельность вредною, подрывающею величественное шествіе Россіи на пути развитія, и, въ заключеніе, въ какомъ-то непонятномъ восхищеніи, подстрекалъ самого себя на борьбу со мною. Будемъ высоко держать знамя Россіи! восклицалъ онъ: — и да послужитъ оно оплотомъ противъ наплыва неблагонадежныхъ элементовъ!

И помню, этотъ призывъ къ ополченію противъ моего наплыва довольно-таки меня огорчилъ. Не потому, чтобы я былъ сраженъ страхомъ по поводу причисленія меня лицомъ посторонняго вѣдомства къ лику неблагонадежныхъ (тьфу! — вотъ я какъ на это смотрю!), но потому, что мнѣ не было при этомъ преподано никакихъ средствъ для исправленія. Нужно высоко держать знамя Россіи! твердилъ я самому себѣ: — но вѣдь надо же объяснить, о какомъ знамени Россіи идетъ рѣчь? Вѣдь не о государ-

ственнымъ же знамени вы бесѣдуете—это знамя я всегда отлично понималъ, равно какъ понималъ и то, что держать его простымъ смертнымъ не предоставляется—а очевидно о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ сказать, интимно обывательскомъ. Но, воли ваша, заводя рѣчь о подобныхъ знаменахъ, надо какъ можно точнѣе ихъ характеризовать, потому что обыватели не всегда въ ридиктированіи девизовъ искусны. Иной такую чепуху на своемъ знамени напишетъ, что попробуй, соблазнись — и въ острогъ, пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же обратился къ встревоженному моимъ наплывомъ публицисту съ просьбою указать подробно, въ чемъ я долженъ исправиться, и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтобъ быть вычеркнутымъ изъ списка неблагонадежныхъ?

Конечно, отвѣта на мой запросъ не послѣдовало. Охотно сочиняя обвинительные акты, публицисты извѣстнаго пошиба, съ истинно жестокой безсердечностью, оставляютъ обличаемыхъ ими грѣшниковъ въ жертву ожидающему ихъ возмездію. Но такъ какъ и возмездіа, которое хотя косвенно могло бы пролить свѣтъ на мои сомнѣнія, не послѣдовало, то я вынужденъ былъ уже собственными средствами доискиваться раскрытія кинутой въ мой огородъ загадки. И что же! ища и допытываясь, я убѣдился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на которомъ написано: расшительно и на выность!

Очевидно, конечно, что почтенный публицистъ настаивалъ не на этомъ знамени, но имѣлъ въ виду иныя знамена, на которыхъ начертаны другіе болѣе солидные и совмѣстные съ достоинствомъ благонамѣренной русской публицистики девизы. И хотя онъ не называлъ ихъ прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, по

мнѣнію обвинителя, я недостаточно усвоилъ себѣ эти девизы, то за сіе и признанъ имъ подлежащимъ помѣщенію въ списокъ неблагонадежныхъ.

Оказывается, однакожь, что знамена съ упомянутыми выше девизами не безъизвѣстны и мнѣ. Я довольно часто возвращаюсь къ нимъ и по мѣрѣ силъ даже разрабатываю ихъ; но, разумѣется, моя разработка имѣетъ нѣсколько своеобразный характеръ. Она не столь отвлеченна, какъ изслѣдованіе какого-нибудь ученаго юриста или экономиста, и не столь практически-наглядна, какъ напримѣръ разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволю себѣ думать, что и моя разработка не вовсе бесполезна.

Какъ литераторъ, занимающійся книгопечатаніемъ съ вѣдома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамена въ предѣлахъ той литературной рубрики, которая извѣстна подъ именемъ „сатиры“. Затѣмъ, справляюсь съ любимымъ курсомъ реторики, и убѣждаюсь, что основной характеръ „сатиры“ заключается въ томъ, что она „осмѣиваетъ пороки“. Прошу читателя не сѣтовать на меня за эти нѣсколько дѣтскія подробности: я останавливаюсь на нихъ потому, что мнѣ необходимо объясниться (вѣдь находятся люди, которымъ и это нужно объяснить), почему я пишу не въ диѳирамбическомъ, а въ сатирическомъ родѣ. Диѳирамбъ, говорю я, есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно съ послѣднею, никакими особенными привилегіями (развѣ что существуютъ какія-либо отдѣльныя по сему предмету распоряженія, о которыхъ я не знаю). Сверхъ того, диѳирамбъ требуетъ иныхъ способностей и совершенно иного отношенія къ изображаемымъ предметамъ, нежели сатира. Такъ что, напримѣръ, если я способенъ написать сносную сатиру, то въ области диѳирамба могу оказаться самымъ

плохимъ нанизывателемъ напыщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по моему мнѣнію, заниматься составленіемъ ходульно-лицемѣрныхъ и вымученныхъ диѳирамбовъ гораздо противозаконнѣе, нежели упражняться въ сносной сатирѣ.

Но, спрашивается, что такое порокъ, какъ объектъ сатиры?

Прежде всего, признаю, я не совѣмъ довѣряю тѣмъ отверженнымъ спискамъ пороковъ, которые, время отъ времени, публикуются во всеобщую извѣстность моралистами. Мнѣ кажется, что моралисты слишкомъ суживаютъ границы порока, черезчуръ ужъ тщательно опредѣляютъ вѣншіе его признаки. Вслѣдствіе этого, порокъ представляется тѣмъ-то окаменѣлымъ, не только не имѣющимъ никакой пригягательной силы, но даже прямо отталкивающимъ. Нужно быть отъ природы несомнѣнно предрасположеннымъ къ злодѣйству и нераскаянности и притомъ очень храбрымъ (или, по малой мѣрѣ, очень глупымъ), чтобы съ насиліемъ и взломомъ проникнуть въ наглухо запертое капище порока, на дверяхъ котораго прежде всего бросаются въ глаза самыя опредѣленныя указанія на соотвѣтствующія статьи Уложенія.

Такихъ отважныхъ рыцарей, которые со взломомъ проникаютъ въ капище порока, сравнительно, очень мало, и они почти всегда попадаютъ. И когда они попадутся, то въ средѣ прокурорскаго надзора бываетъ радованіе. Ибо составъ совершившагося факта ясенъ, и стало быть остается только предъявить въ судъ счетъ (addition) порочнаго человѣка и уплата по оному вослѣдуетъ немедленно и сполна.

Мнѣ кажется, что простая человѣческая совѣсть оказывается въ этомъ случаѣ гораздо болѣе проникающей. Во-первыхъ, она отвергаетъ замкнутость, которую приписываютъ пороку моралисты, и признаетъ за нимъ зна-

чительную долю въѣдчивости; во-вторыхъ, она не допускаетъ, чтобъ пророкъ такъ легко поддавался опредѣленіямъ, ибо въ этомъ случаѣ стоило бы только увеличить составъ прокурорскаго надзора, чтобы очистить Авгіевы конюшни; въ-третьихъ, она признаетъ, что порокъ прогрессируетъ, какъ относительно внѣшнихъ формъ, такъ и по существу, и, вслѣдствіе этого, одни пороки упраздняются, и взамѣнъ ихъ появляются новыя, которые человѣческая совѣсть уже угадываетъ, между тѣмъ какъ прокурорскій надзоръ и во снѣ ничего подходящаго еще не видитъ.

Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ взглядовъ на порокъ, литература должна склоняться на сторону совѣсти? Прежде всего, она не меньше милосердна, какъ и человѣческая совѣсть, и стало бытъ, предположеніе о въѣдчивости порока, какъ смягчающее личную отвѣтственность, не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человѣкъ, укравшій грошъ, въ глазахъ моралиста, ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ пощады, то во мнѣніи человѣческой совѣсти и литературы, онъ можетъ оказаться человѣкомъ, у котораго даже отнять похищенный имъ грошъ не совсѣмъ ловко. А посему надлежитъ: списавъ тотъ грошъ безвозвратнымъ расходомъ, стараться объ немъ позабыть. Затѣмъ, литературѣ не меньше претитъ и канцелярская точность въ опредѣленіи признаковъ порока, потому что слишкомъ ясны пороки вѣдаются полицією и судомъ, и этого вполне для успокоенія общества достаточно. Литература же вѣдаетъ такія человѣческія дѣйствія, которыя заключаютъ въ себѣ извѣстную степенъ загадочности, и относительно которыхъ публика находится еще въ недоумѣніи, порочны они или добродѣтельны. Философы пишутъ, съ цѣлью разъясненія подобныхъ дѣйствій, цѣлые трактаты; романисты кладутъ ихъ въ основаніе многотомныхъ произведеній; сатирики дѣлаютъ тоже дѣло,

призывал на помощь оружіе смѣха. Это оружіе очень сильное, ибо ничто такъ не обезкураживаетъ порока, какъ сознание, что онъ угаданъ, и что по поводу его уже раздался смѣхъ. Наконецъ, и мысль объ измѣняемости формъ порока не можетъ не быть симпатичной для литературы, такъ какъ еслибъ не существовало измѣняемости, еслибъ злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то матерія эта давно была бы исчерпана, и литературѣ пришлось бы уступить мѣсто полиціи и суду. Но этого нѣтъ. И въ то время, какъ судъ караетъ одного Лансберга, литература прозрѣваетъ мириады Лансберговъ, тѣмъ болѣе опасныхъ, что къ нимъ невозможно примѣнить ни одного изъ общепризнанныхъ ярлыковъ, выработанныхъ отверженною моралью.

Ничего этого, конечно, не признаютъ люди, занимающіеся вытребованіемъ литературныхъ знаменъ. Они считаютъ обязательною одну мораль—отверженную, и все, что прямо не возбраняется ею, признаютъ законнымъ. И вслѣдствіе этого, во всякой попыткѣ расширить предѣлы отверженной морали усматриваютъ неблагонадежность, потрясаніе, бунтъ. Словомъ сказать, они требуютъ, чтобы сатирикъ велъ пѣчто въ родѣ дневника происшествій: „такого-то, дескать, числа утромъ (допускается описаніе утра) коллежскій регистраторъ Псевдонимовъ (допускается описаніе отвратительной его паружности) укралъ съ лотка булку“. И только. Но при этомъ, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его съ личнымъ, и не оставило безъ взысканія.

И понимаю, изъ какого источника идутъ эти требованія. Выше я сказалъ, что преступить противъ указаній отверженной морали очень трудно, и что виновными въ этомъ случаѣ оказываются или глушцы, или оборванцы, или такіе отважные люди, которымъ хочется сразу карьеру сдѣлать. Затѣмъ, громадное большинство удобно уживается

съ этою моралью и подъ сѣнію ея бездѣльничаетъ на всей своей волѣ. Вотъ эту-то безнаказанность бездѣльничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а насъ называютъ убійцами; мы ничего не украли, а насъ называютъ ворами: мы живемъ въ семьяхъ, обѣдаемъ, окруженные дѣтьми, пьемъ чай за семейнымъ самоваромъ, а насъ называютъ прелюбодѣями! Что-жъ это такое, какъ не потрясаніе!

Но довольно. Возвращаюсь лично къ себѣ.

Сказаннаго выше, по мнѣнію моему, вполне достаточно, чтобъ убѣдить читателя, что и мнѣ не чужда мысль о знаменахъ. Какого же рода эти знамена, и что на нихъ написано, о томъ слѣдуютъ пункты:

1) Вѣдомо всѣмъ, что въ настоящее время существуютъ три общественныя основы, за непотрясаніемъ которыхъ имѣется особое наблюденіе: семейство, собственность и государство. Вотъ эти-то самыя основы значутся и на моихъ знаменахъ. Знамя первое: семейство. Приемлю и ни мало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпомъ семейственности, хотя она столь твердо понимаетъ материнскія права, что готова посадить своего Теодора въ смиренный домъ за непочтительность. Второе знамя: собственность. Приемлю и ни мало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобъ комерсантъ Деруновъ именовалъ себя апостоломъ собственности, хотя онъ до того простеръ свое усердіе въ этомъ направленіи, что всякую попытку крестьянъ получить за пудъ хлѣба 60 копеекъ, вмѣсто предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, считаетъ за бунтъ и потрясаніе. Третье знамя: государство. Приемлю и ни мало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобъ Оединька Неугодовъ слылъ за поборника государственнаго союза за то только, что онъ видитъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать.



2) Таковы знамена, которыя характеризуют мое внутреннее поведеніе. Что же касается до поведенія внѣшняго, то зная, до этого относящееся, гласить тако: не дѣлать того, что закономъ возбраняется.

3) О прочихъ знаменахъ умалчиваю, но думаю, что и сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ мірѣ съ самимъ собой и не опасаться любопытствующихъ.

## ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.

И въ августѣ отдѣлъ внутренней политики остался незамѣщеннымъ... Слава Богу! слава Богу!

Въ первой половинѣ августа прибылъ ко мнѣ другой племянникъ, Саша Ненарочный, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати. Приѣхалъ, шаркнулъ ножкой и бросился отыскивать „дядинькину ручку“. Но такъ какъ я рѣшился скорѣе вступить въ рукопашную, нежели довести родственныя изліянія до такой восторженности, то Саша кончилъ тѣмъ, что влѣпилъ мнѣ безѣ въ самыя уста. Затѣмъ, сейчасъ же принесъ двѣ банки варенья, и извинился, что не привезъ отварныхъ рыжиковъ: маменька послѣ пришлетъ.

Саша устранилъ угнетавшее меня одиночество — ужъ это одно было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю доволенъ, когда въ минуты унынія меня посѣщаютъ родственники. Въ счастья, я ими не особенно дорожу, но въ несчастія—не нарадуюсь. Даже если кадетъ-племянникъ изъ провинціи „погостить“ приѣдетъ—и тотъ словно рублемъ подарить. Съ приѣздомъ его, и въ квартирѣ дѣлается какъ-то люднѣе, и шороховъ таинственныхъ слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщическій характеръ несомнѣнно смягчается. Словомъ сказать, вся

квартира, въ полномъ своемъ составѣ, внушаетъ болѣе довѣрія...

Но прежде, нежели продолжать, расскажу вкратцѣ, какимъ образомъ я приобрѣлъ племянника въ лицѣ Сашеньки Пенарочнаго.

У tante Babette были двѣ дочери: одна—кузина Nathalie, съ которой читатель ужь знакомъ, младшая и любимочка; другая—кузина Маша, старшая и нелюбимая. Въ сущности, выраженіе „нелюбимая“, въ примѣненіи къ tante Babette, слишкомъ жестоко. Babette никого „не любитъ“ не могла, но у кузины Маши былъ такой большой носъ, что мама ея не могла его видѣть, чтобы не воскликнуть: ахъ, несчастная! Поэтому, Nathalie съ малыхъ лѣтъ предназначалась для блестящей партіи (читатель знаетъ, что она и дѣйствительно обрѣла такую въ лицѣ штабсъ-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Такъ что, когда статскій совѣтникъ Пенарочный присватался къ ней, то tante Babette совсѣмъ растерялась, и даже воскликнула: *bonté du ciel!* но посмотрите же, какой у пей... носъ! Однако, Пенарочный оставилъ это предостереженіе втунѣ, и, прѣбывъ твердымъ въ своихъ матримоніальныхъ намѣреніяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ Богъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ расчетѣ.

Пенарочный былъ первымъ родоначальникомъ своей фамиліи, и слѣдовательно не могъ похвалиться знатностью. Носился слухъ, что нѣкогда Аракчеевъ, во время объѣзда новгородскихъ поселеній, остановившись на почтовой станціи, имѣлъ разговоръ съ смотрительскою дочерью, и что послѣдствіемъ этого разговора былъ маленькій рабъ Божій Иванъ. Разумѣется, прослѣдовавши на ближайшую станцію, суровый временщикъ утратилъ всякое воспоминаніе о недавнемъ грѣхопадении, но, должно быть, рабъ Божій Иванъ въ рубашкѣ родился, потому что даже вол-

намъ временщичьяго забвенія не удалось поглотить его. Когда молодая мать, годъ спустя, явилась въ Петербургъ съ младенцемъ въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разсвирѣпѣлъ, какъ этого слѣдовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ безпримѣрное милосердіе: мать опредѣлилъ на кухню судомойкой, а сына взялъ въ комнаты и выхлопоталъ ему гербъ. Въ гербѣ этомъ, на золотомъ полѣ была изображена почтовая станція съ верстовымъ столбомъ; сбоку столба—трехъугольная шляпа съ плюмажемъ, изъ котораго выходитъ протягивающій ручки младенецъ, а внизу алая извивающаяся лента, на которой начертанъ девизъ:

Хоть созданъ ненарочно,  
Зато довольно прочно.

Въ согласность съ этимъ девизомъ, Ваня—по крестному отцу Алексѣичъ—и фамилію получилъ: Ненарочный.

Прошло нѣсколько лѣтъ, Аракчеевъ палъ, но Ваня и изъ этого крушенія вышелъ невредимъ. Его призрѣлъ коллежскій совѣтникъ Стрекоза, бывший наперсникъ Аракчеева, который явно хотя и отрекся отъ него при надежніи, но втайнѣ остался ему преданнымъ. Онъ выкормилъ и обучилъ Ненарочнаго, и когда послѣдній кончилъ университетскій курсъ, то опредѣлилъ его въ департаментъ разныхъ податей и сборовъ. Тамъ, Иванъ Алексѣичъ въ скоромъ времени предъявилъ такіе таланты по части сборовъ, что лѣтъ черезъ десять былъ опредѣленъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія въ пензенскую казенную палату.

Въ то время, совѣтники питейныхъ отдѣленій были люди солидные и уважаемые. Мѣста эти не считались особенно блестящими въ смыслѣ борьбы съ внутренними врагами, но такъ какъ съ ними сопрягалось представленіе о сокровищѣ, то всякая открывающаяся вакансія привлекала цѣлыя толпы соискателей. Питейный совѣтникъ

игралъ въ губернскомъ обществѣ роль; онъ былъ непремѣннымъ старшиной мѣстнаго клуба; на его обязанности лежало составленіе для губернатора партіи въ вистъ; онъ бесѣдовалъ съ архіереемъ о безсмертіи души, и, въ довершеніе всего, пользовался секретнымъ довѣріемъ мѣстнаго штабъ-офицера, который по секрету сообщалъ ему, что главная его секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно утирать слезы. Сверхъ того, онъ любилъ творить тайную милостину, то есть правою рукой подавалъ нищему грошъ, а лѣвую оставлялъ въ заблужденіи якобы поданъ рубль. И въ концѣ года, подведя итогъ накопленному сокровищу, клалъ оное въ онекунскій совѣтъ для приращенія изъ процентовъ.

Въ такомъ видѣ сложился типъ совѣтника питейнаго отдѣленія въ моментъ учрежденія этой должности, и въ томъ же видѣ сохранился онъ и въ моментъ упраздненія оной.

Такое же было и Иванъ Алексѣичъ Ненарочный.

Онъ взялъ Машу даже безъ прилагательнаго, ибо провидѣлъ, что въ этой дѣвицѣ будетъ толкъ. Ему не красота была нужна—онъ видѣлъ въ женщинѣ лишь посланное судьбою орудіе на случай тѣлеснаго озлобленія—а домовитая хозяйка, которая взяла бы въ руки бразды домашняго управленія, а ему дала бы возможность всецѣло и безъ помѣхи отдаться присовокупленіямъ и созиданіямъ. И отъ времени до времени рожала бы дѣтей. Маша все такъ точно и выполнила. Хозяйничала отлично, и сверхъ того, въ теченіи двадцати лѣтъ супружества, принесла мужу семь человекъ сыновъ. Такъ что, когда откупа были упразднены, то Иванъ Алексѣичъ могъ съ легкимъ сердцемъ произнести: „нынѣ отпускаеши“—и подать въ отставку.

Ненарочные и Неугодовы, какъ и слѣдуетъ добрымъ родственникамъ, находились въ постоянной враждѣ. Не-

угодны гордились своимъ аристократизмомъ и совершенно справедливо полагали, что еслибы при такой блестящей фамилии да сокровище Непародныхъ, то это было бы имъ какъ разъ въ самую пору. Непарочные не гордились, но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, какъ бы съ минуты на минуту ожидая, что при малѣйшей оплошности Nathalie непременно попросить у нихъ денегъ. Въ послѣднее время, однакожь, со стороны Непарочныхъ сдѣланы были серьезныя попытки къ сближенію, такъ какъ проницательный взоръ Ивана Алексѣича отлично усмотрѣлъ, что въ лицѣ Ѳедивки на неугодовскомъ горизонтѣ восходитъ блестящая звѣзда.

И такъ, ко мнѣ явился Саша Непарочный. Уже по прежнимъ письмамъ кухни Маши я зналъ этого молодого человѣка съ отличной стороны. „Саша, писала она мнѣ не разъ (очевидно, впрочемъ, что письма сочинялъ Иванъ Алексѣичъ, а она только переносывала):—отмѣнно радуется мое родительское сердце. Онъ почтителецъ, прилежень, аккуратецъ и ни мало не сердится на младшихъ братцевъ, когда сіи послѣдніе просятъ его что-нибудь объяснить имъ ихъ ариеметики. За всякую ласку благодарень, тетрадки содержитъ въ порядкѣ, и, что всего пріятнѣе, никому не довѣряетъ своего форменнаго мундирчика, но самъ оный чистить“. И дѣйствительно, онъ предсталъ предо мной именно такимъ, какимъ его описывала Маша. Тѣлосложеніе обстоятельное, румянецъ во всю щеку, ротъ сердечкомъ, глаза веселые, но не столько вслѣдствіе свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вслѣдствіе выработаннаго убѣжденія, что унылое выраженіе можетъ огорчить старшихъ и благодѣтелей.

Вообще при взглядѣ на него, рождалась увѣренность, что этотъ юноша никому своего мундирчика не повѣритъ, но самъ его вычиститъ, а въ то же время вытвердитъ и урокъ. Мнѣ кажется, что именно таковъ былъ Аракчеевъ

въ молодости: аккуратный, равно готовый принять и орденъ, и затрещину, и постоянно рѣшающій въ мысляхъ не очень сложную ариѳметическую задачу. Даже лобъ у Сашеньки былъ Аракчеевскій: узкій, слегка какъ бы угнетенный.

Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ же явилъ безпримѣрную ласковость. Не успѣвъ поймать мою „ручку“, облобызаль меня въ уста и потомъ, отъ времени до времени, сталъ украдкой поцѣловывать въ плечико. Сначала это меня безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ быть, онъ этимъ способомъ прицѣнивается, что стоитъ суконице на моемъ сюртукѣ?

Однимъ словомъ, Сашенька сдѣлалъ на меня такое приятное впечатлѣнiе, что, будь я не старикъ, а старушка со средствами, то, кажется, и цѣны бы ему не нашель.

— Кончилъ гимназiю? спросилъ я его.

— Кончилъ, дяденька, и удостоенъ первымъ-съ.

— Отлично! Это тебѣ дѣлаетъ честь, что родителей радуешь!

Я обнялъ его, и вдругъ, какъ бы проникшись дидактическою сферой, которую принесъ съ собой Сашенька, присовокупилъ:

— А вотъ тѣмъ дѣтямъ, кои, вмѣсто радостей, приносятъ родителямъ лишь огорченiя—это чести не дѣлаетъ.

Не успѣлъ я раскрыть ротъ отъ удивленiя, слыша такую змѣиную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ Саша уже воспользовался ею, чтобъ поддержать разговоръ на философической высотѣ.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убѣжденiе, скромно отвѣтилъ онъ:—и ежели вы позволите мнѣ высказать его вполне...

— Говори, любезный другъ! не стѣсняйся!

— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дѣти, обязаны любить Бога, создавшаго насъ всѣхъ, а не-

посредственно затѣмъ родителей, начальниковъ и добрыхъ родственниковъ. Таковы правила, въ которыхъ воспитывался я и всѣ мои братцы.

— Прекрасныя правила! продолжай!

— Потому что ежели мы не будемъ любить Бога, то сдѣлаемся черезъ это безбожниками, и тогда не къ кому намъ будетъ, въ случаѣ несчастія, обращаться съ молитвой о помощи. Если же не будемъ любить и почитать родителей, то послѣдніе могутъ за это лишиться насъ своихъ милостей. Что же касается до начальниковъ, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?

— Еще бы!

— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь, по возможности, не отступать отъ нихъ. А ежели и затѣмъ, мнѣ, какъ человѣку, не свободному отъ слабостей, случается возбудить противъ себя справедливый родительскій гнѣвъ, то я стараюсь чистосердечнымъ раскаяніемъ загладить свою вину и тѣмъ предотвратить угрожающія мнѣ въ будущемъ бѣдствія!

— Ахъ, голубчикъ!

— Я и васъ, дяденька, люблю. прибавилъ онъ, слегка застыдившись.

— Меня-то за что?

— Во-первыхъ, потому, что я вообще всѣхъ родственниковъ обязанъ любить, а во-вторыхъ...

— Отлично! поцѣлуемся—и шабашъ!

Я поцѣловалъ его и, цѣлуя, думалъ: а еще говорятъ, что нынѣшніе молодые люди дерзкіе—апъ вонъ онъ какой! какъ огурчикъ!

— Ну, а въ Петербургъ зачѣмъ пріѣхалъ? Въ здѣшній университетъ что ли поступить хочешь?

— Нѣтъ, я буду оканчивать образованіе въ московскомъ университетѣ: поближе къ родителямъ. Въ Петербургъ же я пріѣхалъ, во-первыхъ, для того, чтобъ пред-



ставиться вамъ, добрый дяденька, а во-вторыхъ, потому, что папенька полагаетъ, что для меня поѣздка эта будетъ не бесполезна. Когда я выдержалъ послѣдній экзамень, то папенька подарилъ мнѣ вотъ эти часы (Сапа вынулъ изъ кармана хорошенькіе часики и показалъ ихъ мнѣ) и сказалъ: теперь ты уже юноша и необходимо тебѣ самому регулировать свое время—не все подъ родительскимъ крыломъ жить... Признаюсь вамъ, любезный дяденька, мнѣ было ужасно больно слышать послѣднія слова...

Говоря это, онъ былъ слегка взволнованъ и на глазахъ его блеснули слезы.

— Ну, что! не плачь! Богъ милостивъ... какъ-нибудь!

— Нѣтъ, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. Зачѣмъ папенька сказалъ такія жестокія слова? Они такъ меня тронули, что я въ первый разъ въ жизни осмѣлился попенять ему: „Зачѣмъ, сказалъ я, вы изволили упомянуть о разлукѣ, милый папенька? Если вамъ угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будетъ выполнена, но зачѣмъ же огорчать мое сердце предположеніями о какомъ-то самовольномъ съ моей стороны регулированіи времени!“ Къ счастью, однакожь, все объяснилось, и папенька не только не забранилъ меня, но очень милостиво продолжалъ свои наставленія. А теперь, сказалъ онъ, поѣзжай въ Петербургъ! Во-первыхъ, тебѣ необходимо отрекомендоваться добрымъ роднымъ, во-вторыхъ, ты оказался вполне достойнымъ вкусить нѣкоторыхъ столичныхъ удовольствій, а въ-третьихъ, да послужить тебѣ эта поѣздка испытаніемъ, и ежели ты изъ столичныхъ искушеній выйдешь невредимымъ, то это будетъ означать, что ты уже вполне заслужилъ аттестатъ зрѣлости. Объ одномъ прошу: какъ можно остерегайся ужасной болѣзни, которая, при дурномъ леченіи, можетъ навѣкъ лишить человѣка свойственнаго ему благо-

образія. А, впрочемъ, дядя тебѣ все это лучше меня объяснить!

— Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствамъ?

— Ахъ, дяденька! Представьте себѣ, папенька точно угадалъ, что вы сдѣлаете это предположеніе! Одного опасаюсь, сказалъ онъ маменькѣ, какъ бы братецъ не подумалъ, что мы предназначаемъ ему роль искуителя? Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась противъ этой мысли.

— И превосходно сдѣлала. Дай я еще разъ тебя поцѣлю.

Выполнивши это, я, однакожъ, спохватился: все поцѣлуй да поцѣлуй—не слишкомъ ли это ужъ однообразно? Поэтому, я выпуль красную ассигнацію и, подавая ему ее, присовокупилъ:

— А чтобы доказать тебѣ, что я люблю не ложно—вотъ десятирублевенькая. Это тебѣ на столичныя искушенія.

— Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но вашъ подарокъ мнѣ дорогъ, какъ знакъ милостиваго ко мнѣ расположенія. Теперь, я, кажется, вполне обезпеченъ. Папенька мнѣ двѣсти рублей на дорогу и на удовольствія пожаловалъ, да маменька двадцать рублей—это ужъ когда я въ вагонъ сядилъ, въ видѣ сюрриза. А вотъ теперь и вы, милый дяденька. Надѣюсь, что до переѣзда въ Москву, этого будетъ достаточно.

— Еще бы! здѣсь тебѣ ничего не нужно, а что касается до поѣздки въ Москву, то за твой умъ тебя любой кондукторъ въ вагонъ постоять пустить! Съ чего же, однакожъ, мы искушенія наши начнемъ?

— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую, съ вашего позволенія, сходить.

— Въ кондитерскую—это ты всегда успѣешь. А мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отобѣдаемъ, отдохнемъ по-христіански, а потомъ и закатимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ ты сразу увидишь, въ какомъ смыслѣ тебѣ понимать себя надлежить.

— Демидронъ... это что же такое, дяденька?

— Это, мой другъ, *jardin des familles russes* такъ называется, то есть садъ, въ которомъ русскій семейный союзъ преимущественное осуществленіе для себя находитъ. „Штучку“ я тебѣ тамъ одну покажу — пальчики оближешь!

— „Штучка“—это не то ли самое, что папенька „сиренами“ называетъ? Впрочемъ, даже и въ этомъ смыслѣ я не отказываюсь слѣдовать вашему указанію, любезный дяденька, ибо надѣюсь съ честью выйти изъ предстоящаго испытанія. Одно только позволю себѣ доложить вамъ: ловко ли будетъ мнѣ появиться въ Демидронѣ прежде, нежели я представлюсь братцу Федору Семенычу?

— Неугодова едва ли ты скоро увидишь: онъ нынче въ десяти комиссіяхъ засѣдаетъ.

— Но въ такомъ случаѣ отъ кого же мнѣ о здоровьи тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. *Nathalie* была здѣсь недавно и оцѣпъ уѣхала въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй разъ замужъ вышла.

— Я, дяденька, съ вашего позволенія, ей въ Парижъ напишу; неловко же не поздравить тетеньку съ вступленіемъ въ новую жизнь. Вѣдь для письма въ Парижъ семикопѣчной марки достаточно?

Повторяю: чѣмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, тѣмъ больше онъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и очарованію полагается извѣстный предѣлъ, то я былъ очень доволенъ, когда Саша спросилъ позволенія на время оставить меня, чтобы написать письма къ родителямъ, а

также къ тетенькѣ Натальѣ Петровнѣ. Разумѣется, я снабдилъ его всеѣми письменными принадлежностями, и былъ очень угѣшенъ, прочитавъ въ его глазахъ рѣшимость, не отказывая себѣ въ изліяніи чувствъ, предаваться оному, однакожь, лишь на столько, чтобы письмо вѣсило не болѣе одного лота.

За обѣдомъ мы опять сошлись и бесѣда возобновилась.

— Надѣюсь, что ты не виѣшиваешься во внутреннюю политику? спросилъ я.

— Я, дяденька, всегда старался стоять въ сторонѣ отъ обольщеній, и до сихъ поръ Богъ помогаль мнѣ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе, не смѣю не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.

Я даже подскочилъ при этомъ извѣстіи.

— Чтò ты!!

— Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ, и вдругъ одинъ изъ товарищей, Сипко, говоритъ: пойдѣмъ, Саша, Селиксу волновать—это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я, по неопытности, согласился, Купили мужицкіе портки, бороды фальшивыя подвязали—и отправились волновать. И только-что, знаете, приступили, какъ намъ сейчасъ же руки назадъ и маршъ къ становому! Ну, разумѣется, становой зналъ папеньку, и отправилъ меня домой.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! Хорошо, что Богъ спасъ!

— Я, дяденька, въ то время такъ испугался, что чело-вѣкъ съ пятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назваль-съ...

— Ахъ!

— Разумѣется, маменька легко оправдалась, но нѣкоторые, какъ я потомъ освѣдомился, получили достойное возмездіе.

— Правильно!

— Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю: кто что посягнетъ, то и пожнетъ. Никто не въ правѣ претендовать

на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свободною волей, суть сами единственные виновники тѣхъ злоключеній, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни и въ будущей.

— Однако, вотъ ты ходилъ волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все рассказалъ-съ. А сверхъ того, всякій очень хорошо понималъ, что и папенька не оставитъ меня безъ высканія.

— А больно папенька высѣкъ?

— Это случилось тому назадъ пять лѣтъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мнѣ объ этомъ. Я же съ своей стороны могу сказать одно: съ тѣхъ поръ я никогда въ политику не вмѣшиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, онъ, повидимому, не очень изобрѣтателенъ, и рѣчь его положительно отзывается какою-то прѣльбою, но, по моему мнѣнiю, для родительскаго сердца это даже лучше. Далеко ли пойдетъ Сашенька въ будущемъ, или застрянетъ въ самомъ началѣ жизненнаго пути въ должности регистратора—это вопросъ, на который я не берусь отвѣтить. Но сдается, что ежели начальство безпристрастнымъ окомъ взглянетъ на его усилiя, то оно, навѣрное, дастъ ему возможность добраться до чего-нибудь тепленькаго. Тѣмъ больше, что папенька однажды ужъ высѣкъ его, и стало быть, совсѣмъ невѣроятно, чтобъ онъ вновь рѣшился волновать Селиксу. Высѣчь во благовременiи — вотъ послѣднее слово педагогики, и благо тѣмъ, которые испытуютъ на себѣ спасительную силу его! Скорѣе можно ожидать продерзостныхъ поступковъ отъ такого превысренняго юноши, какъ Фединька Неугодовъ — и кто знаетъ? — можетъ быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что Nathalie никогда не съѣла его, а только грозилась посадить въ смирительный домъ. Благодаря своей превысремен-

ности, Дединька сдѣлался честолюбивъ и какъ-то болѣзненно чувствителенъ ко всѣмъ вопросамъ до прохожденія службы относящимся; такъ что ежели, напримѣръ, обойти его къ празднику наградой, то онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на потрясаніе основъ пойти. Развѣ мало такихъ случаевъ бывало? Я лично зналъ одного статскаго совѣтника, который ждалъ къ Пасхѣ Владиміра 3-й, а получилъ корону на св. Анны, такъ онъ прямо съ того и началъ: что такое государство? говорить: — покажите мнѣ его! Еслибъ оно было не мнѣ, то я бы видѣлъ его, или, по малой мѣрѣ, ощущалъ бы на себѣ его дѣйствіе! А то — помилюйте! — корона на Аннушку! Обрадовали!

Вотъ такихъ-то превыспренности и нельзя Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснѣйшій молодой человекъ.

— И отлично дѣлаешь, что не вмѣшиваешься, похвалилъ я его: — потому что политика — это что такое? Одинъ разъ пошалилъ — сошло съ рукъ, а въ другой разъ — и поминай какъ звали! Вотъ какова, мой другъ, наша политика!

— Я это знаю, дядинька, хотя собственно въ примѣненіи ко мнѣ, заблужденіе мое принесло мнѣ гораздо больше удовольствія, нежели неприятностей. Мнѣ надавали тогда столько лакомствъ, что даже когда я подѣлился съ братьями — и тутъ оказался избытокъ. А сверхъ того, въ нашемъ „Справочномъ Листкѣ“ была напечатана статья „Спасительные плоды отеческаго непопустительства“, въ которой авторъ, отдавая справедливость папенькиной строгости, отзывался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ и обо мнѣ.

— Вотъ какъ!

— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго энтузіазма, такъ что нашъ родной городъ прислалъ папенькѣ адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обра-

ценіе на путь истинный заблуждающихся, поднесъ ему званіе почетнаго гражданина... Но что всего отраднѣе: недавно, уже за предѣлами родной губерніи, я вполнѣ убѣдился, что похвальный поступокъ никогда не остается безъ награды!

— Какъ! даже за предѣлы Пензенской губерніи, проникла твоя слава?

— Представьте себѣ, по прїѣздѣ въ Рязань, я хотѣлъ взять билетъ для дальнѣйшаго слѣдованія, какъ вдругъ подходитъ ко мнѣ начальникъ станціи и спрашиваетъ: „не вы ли тотъ благородный молодой человекъ, который, по словамъ „Справочнаго Листка“, будучи высѣченъ паненкой, откровенно разсказалъ, какъ было дѣло?“ И когда я отвѣтилъ утвердительно, то онъ продолжалъ: „въ такомъ случаѣ, не трудитесь брать билетъ! Мы за особенную честь сочтемъ доставить васъ въ Москву бесплатно.“ Согласитесь, дяденька, что я имѣлъ полное право прослезиться, услыхавъ такую лестную для меня резолюцію.

— Помилуй, мой другъ! да если бы ты не прослезился, то просто поступилъ бы какъ свинья!

— Но это еще не все-съ. Не успѣлъ я, по прїѣздѣ въ Москву, отявиться на Страстной бульваръ, какъ мнѣ подарили „Полный греческо-русскій словарь“, а вслѣдъ за тѣмъ общество ревнителей російскаго благонравія за даромъ свозило меня въ одно изъ увеселительныхъ заведеній, гдѣ я слышалъ пѣніе г-жи Зориной.

— Надѣюсь, что ты и поэтому случаю прослезился?

— Дяденька! могъ ли я иначе поступить?

Я слушалъ эти дѣтскія признанія, и сердце во мнѣ таяло. Признаюсь откровенно, въ мою голову даже заползла дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели пана-Ненарочный былъ удостоенъ отъ родного города званія почетнаго гражданина за то, что высѣкъ Сашеньку, то отчего же бы и мнѣ... Но, къ счастью, пріятное послѣ обѣденное отяже-

лѣніе заставило меня отказаться отъ соотвѣтствующаго по сему предмету распоряженія.

Отдохнувши и напивши чаю, мы часовъ въ десять отправились въ Демидронъ.

Но тутъ послѣдовалъ цѣлый рядъ происшествій до такой степени фантастичныхъ, что я ничѣмъ другимъ объяснить ихъ себѣ не могу, какъ развѣ тѣмъ, что отъ московскаго общества ревнителей россійскаго благонравія была разослана во всѣ петербургскія увеселительныя заведенія особая циркулярная телеграмма, извѣщающая о иредстоящемъ приѣздѣ въ Петербургъ благороднаго юноши, который, будучи высѣченъ паненькою, навсегда отказался отъ внутренней политики.

Уже при самомъ входѣ въ садъ меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе не свойственная этому мѣсту. Затѣмъ, начался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когда мы подошли къ кассѣ, чтобъ взять билеты, намъ объявили, что насъ обоихъ велѣно пропустить даромъ, а товарищу моему, сверхъ того, предоставляется даровой билетъ въ кресла и жетонъ на безвозмездное полученіе порціи чая. Когда же мы вошли въ садъ, то взорамъ нашимъ представилась слѣдующая картина: официанты въ бѣлыхъ галстукахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики, жадно караулившей наше появленіе; оркестръ, усиленный нѣсколькими посторонними хорами, гремѣлъ маршъ на мотивы изъ „чизика“; нѣсколько поодаль, виднѣлась, освѣщенная бенгальскимъ огнемъ, живая картина, изображающая аллегорическія фигуры Родительскаго Сѣченія, Раскаянія и Откровенности, у ногъ которыхъ корчилось и издыхало на смерть пораженное Обольщеніе, а на верху парилъ геній Благонравія. Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ навстрѣчу намъ, въ предшествіи околоточнаго надзирателя, вышель



содержатель сада, сопровождаемый дѣвицами Филиппо и Салинасъ (обѣ были „на сей только разъ“ одѣты въ трико, на подобіе древнихъ статуй), и прочиталъ Сашенькѣ адресъ. Въ этомъ адресѣ, рассказавъ подробно исторію сѣченія и его благотворныя послѣдствія, г. Егаревъ объявилъ, что Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашенькѣ дипломъ на званіе почетнаго гражданина этого заведенія. При чемъ, объяснивъ, что званіе это влечетъ за собой право на безплатный входъ въ садъ и на безплатную же порцію чая — на вѣчно!—и вручая соответствующіе документы, присовокупилъ:

— Почтеннѣйшему же родителю вашему, передайте, что, не имѣя возможности чествовать его лично, мы сдѣлали распоряженіе, дабы одна изъ шансонетокъ сегодняшняго репертуара была посвящена прославленію родительской спасительной строгости (дѣйствительно, шансонетка эта была въ свое время выполнена, и когда рѣчь шла о спасительной строгости, то исполнительница, дѣвица Филиппо, такъ выразительно хлопала себя по ляжкѣ, что публика просто на просто выла).

Кончивши привѣтствіе, г. Егаревъ прослезился, а въ отвѣтъ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнѣе—это роль, которая выпала въ этотъ вечеръ на долю дѣвицы Филиппо. Въ началѣ церемоніи поднесенія адреса, Сашенька былъ такъ отуманенъ, что все свое вниманіе исключительно сосредоточилъ на г. Егаревѣ. Но когда адресъ былъ уже врученъ, то виновникъ торжества, облобизавшись съ г. Егаревымъ, долженъ былъ, по правиламъ церемоніала, облобизать и его ассистентокъ. Но едва онъ приступилъ къ этому обряду, какъ изъ груди его вдругъ вырвался пронзительный крикъ...

Что же оказалось! Что дѣвица Филиппо нѣкогда жила въ семействѣ Ненарочныхъ въ качествѣ наставницы, и первая посѣяла въ сердцѣ Сашенькѣ сѣмена благодравія!

Вотъ какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведутъ насъ судьбы для выполненія своихъ благихъ замысловъ.

— Eh bien, morveux, es-tu content? спросила очаровательница послѣ первыхъ горячихъ привѣтствій признательности, и тутъ же, вынувъ изъ-за пазухи дипломъ на безпрепятственный входъ за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я цѣлый вечеръ ходилъ какъ въ туманѣ. Я гордился моимъ юнымъ другомъ, и чувствовалъ, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мнѣ не дали ни дарового билета въ кресло, ни права на полученіе порціи чая, но все-таки пустили въ садъ даромъ, а чаемъ, въ порывѣ великодушія, угостилъ меня Сашенька—тоже даромъ. Сверхъ того, я понималъ, что своимъ присутствіемъ въ моей квартирѣ онъ, такъ сказать, обезпечивалъ мою жизненную несмѣняемость, а такъ какъ для меня это очень важно, то я началъ даже опасаться, чтобъ какъ-нибудь его отъ меня не сманили. Поэтому, я съ живѣйшимъ безпокойствомъ слѣдилъ, какъ нѣкоторые вышедшіе изъ лѣтъ отставные дѣйствительные статскіе совѣтники, окруживъ его, наперерывъ другъ передъ другомъ потчивали сластями. Но безпокойство мое превратилось въ настоящій испугъ, когда, по окончаніи представленія, къ намъ подошла дѣвица Филиппо и стала уговаривать Сашеньку, чтобъ онъ постунилъ въ труппу Демидрона. И очень возможно, что она успѣла бы въ своемъ сатанинскомъ намѣреніи, еслибъ преждевременно не оскорбила сыновнихъ чувствъ Сашеньки, выразившись объ кузинѣ *Mашette*: *ta vieille carcasse de mère*. Такой черезчуръ откровенный отзывъ оскорбилъ юношу, и вслѣдствіе этого онъ не далъ положительнаго отвѣта, а только обѣщалъ подумать.

Словомъ сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью возвращались на извозчикѣ домой. Вплоть

до самага Невскаго мы молчали; онъ—потому что весь трепеталъ подъ наплывомъ новыхъ ощущеній, я—потому что не хотѣлъ нескромнымъ словомъ потревожить сладостное чувство, охватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невскаго онъ не выдержалъ. и съ какой-то стыдливой нѣжностію обнялъ меня.

— Ахъ, дяденька! какъ я счастливъ! какъ я счастливъ! произнесъ онъ.

Я хотѣлъ ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поровнялись съ Милютиными лавками, я сказалъ:

— Другъ мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имѣй въ виду, что всякая популярность, хотя бы она свила себѣ гнѣздо въ Демидронѣ, непременно источаетъ изъ себя ядъ. И этотъ ядъ, ежели не принять противъ него мѣрь...

Но онъ не далъ мнѣ докончить и, поцѣловавъ меня въ плечико, произнесъ:

— Благодарю васъ, добрый дядинька! Ваши слова... отрезвили меня! Я... не боюсь больше!

И дѣйствительно, послѣ этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своимъ комнатамъ.

Тѣмъ не менѣе, я провелъ безпокойную ночь. Какъ ни благонравенъ Сашенька, думалось мнѣ, но подобныя торжества могутъ хоть кого сбить съ толку. Слава и популярность—вотъ двѣ вещи наиболѣе соблазнительныя и въ тоже время наиболѣе ядовитыя. И обѣихъ ихъ Сашенька достигъ разомъ, въ одинъ вечеръ, достигъ легко, безъ всякихъ усилій, благодаря только тому, что папенька временно его высѣкъ! Какъ бы онъ не изнемогъ, если тоже явленіе повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посѣтить Крестовскій островъ). Поэтому, я рѣшился нѣсколько измѣнить программу нашихъ увеселеній, и сначала повезти моего юнаго друга въ Зоологиче-

скій садъ, чтобы познать его съ болѣе отрезвляющимъ зрѣлищемъ кормленія звѣрей и съ зулусами. А чтобы придать этому столичному искушенію больше разнообразія, предположилъ, сверхъ того, сводить Сашеньку въ кондитерскую братьевъ Назаровыхъ и угостить мороженымъ. Въ этихъ размышленіяхъ застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожнымъ сномъ.

На утро я сообщилъ о моихъ рѣшеніяхъ Сашенькѣ, и онъ вполне ихъ одобрилъ. И вдругъ онъ ошеломилъ меня вопросомъ:

— А до зоологическаго сада не позволите ли вы мнѣ, дяденька, сходить къ Луизѣ Селиверстовѣ?

Но пылающимъ его щекамъ я догадался, что рѣчь идетъ о дѣвицѣ Филиппѣ и сердце мое невольно сжалось.

— Послушай, мой другъ! сказалъ я:—выполнимъ прежде первоначальную программу искушеній, а посѣщеніе хранительницы твоей юности отложимъ до конца твоего пребыванія въ здѣшней столицѣ! Ибо я знаю, что разъ ты попадешь къ Луизѣ Селиверстовѣ, она ужъ не выпуститъ тебя! И тогда можетъ случиться, что родители, встревоженные твоимъ исчезновеніемъ, вынуждены будутъ потребовать тебя въ Пензу по этапу. Сообрази самъ, не придется ли папенькѣ твоему вновь прибѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ, которыя хоть и доставили тебѣ популярность, но повтореніе коихъ можетъ, однакожь, поселить недоумѣніе въ сердцахъ твоихъ согражданъ!

Эта разсудительная рѣчь не очень-то пришлась по вкусу Сашѣ, потому что, въ теченіи ея, онъ нѣсколько разъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. И будь я нѣсколько менѣе энергиченъ въ моихъ выводахъ, очень возможно, что воспоминаніе о Луизѣ Селиверстовѣ, облеченной въ трико, пересилило бы мою правоучительную прозу. Но когда я упомянулъ о возможности путешествія по этапу, онъ не могъ не признать моей правоты...

Увы! въ зоологическомъ саду насъ ожидало торжество еще болѣе умилительное, нежели въ Демидронѣ. Едва подѣхали мы къ рѣшеткѣ сада, какъ единодушный и радостный ревъ животныхъ и птицъ возвѣстилъ насъ, что мы—давножеланные здѣсь гости. И дѣйствительно, совершилось нѣчто волшебное. Прежде всего, выступилъ впередъ громадный жирафъ и отъ лица всѣхъ своихъ товарищей, привѣтствовала Сашеньку краткою но прочувствованною рѣчью. Затѣмъ, послѣдовало общее представленіе. Мы поочередно переходили отъ тигра къ слону, отъ слона къ пернатымъ, и вездѣ слышали самыя лестныя привѣтствія. Даже гіена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувствія, а поугаи такъ просто на просто одурѣли и начали лопотать что-то совсѣмъ нескладное. Когда же звѣри умолкли, то вышелъ впередъ начальникъ зулусовъ (впослѣдствіи разъяснилось, что онъ въ то же время состоитъ арапомъ въ клубѣ художниковъ), и объяснилъ собравшимся гимназистамъ и кадетамъ значеніе настоящаго торжества. Онъ очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Сашенька былъ высѣченъ, какъ онъ самъ созналъ, что иначе поступить было невозможно, и вотъ за это теперь превознесенъ; потомъ похвалилъ энергію Ивана Алексѣича и, въ заключеніе, обратившись ко мнѣ, присовокупилъ: „а ты, дядя, веселись!“ Рѣчь эта возбудила такой энтузіазмъ, что когда велѣдъ затѣмъ начался „большой танецъ зулусовъ“, то вся присутствовавшая въ саду молодежь вмѣшалась въ ихъ игры, и такимъ образомъ самъ собой, безъ всякихъ мѣръ строгости, образовался истинно-семейный праздникъ.

Нѣтъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Сашеньки не было взято за входъ ни копейки, а Сашенькѣ, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы сѣли на извозчика.

Справедливость требуетъ, однакожъ, сознаться, что нѣтъ большее торжество подѣйствовало на Сашу нѣсколько иначе,

нежели вчерашнее. Вчера онъ былъ взволнованъ и стидливъ, сегодня—самонадѣянъ и даже нѣсколько наглъ. Такъ что когда я напомнилъ ему:

— Ну вотъ, еслибъ ты давеча не послушался меня и ушелъ къ Луизѣ Селиверстовнѣ, то ничего бы этого не было! то, къ величайшему моему изумленію, онъ совершенно развязно отвѣтилъ:

— Ахъ, дядя, я позабылъ и думать объ этихъ пустякахъ! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вмѣстѣ издавать газету!

И такъ какъ я, онѣмѣвъ отъ неожиданности, безмолвствовалъ, то онъ продолжалъ:

— Теперь самое время. Я популяренъ, и газета моя будетъ покупаться на расхватъ. А за мною и вы незамѣтно пройдете!

Ужели и я буду вынужденъ высѣчь его! мелкнуло у меня въ головѣ, но, по счастію, мы въ эту минуту поровнялись съ кондитерской братьевъ Назаровыхъ, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитіе.

Оказалось, что и Назаровымъ все было уже извѣстно, такъ что и тутъ съ насъ ничего не взяли за угощеніе. Этого мало: когда мы возвращались домой гѣшкомъ, то отъ самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая насъ кликами: вотъ благонравный юноша, который, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики!

Я не буду описывать дальнѣйшихъ триумфовъ Сашеньки. Въ „Баваріи“, въ „Ливадіи“, на Крестовскомъ, въ Эльдorado, въ Шато-де-Флёръ—вездѣ онъ былъ дорогимъ и желаннымъ гостемъ, а изъ Озерковъ тамошнія дамочки даже послали на имя кузины Маши телеграмму, въ которой благодарили ее за вступленіе въ бракъ, плодомъ котораго былъ столь благонравный сынъ.

Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увесе-

лительныхъ заведеніяхъ, то на сцену выступили учрежденія и установленія.

Городская дума прислала Сашенькѣ патентъ на званіе почетнаго члена трактирной депутаціи.

Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашеньки имѣются ветхія ассигнаціи, то онъ во всякое время можетъ перемѣнить ихъ на новенькія, при чемъ присовокупилъ, что по предъявленіи таковыхъ выдается изъ размѣнной кассы банка соотвѣтствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимнаго кредита увѣдомило, что Сашенькины деньги могутъ быть безъ опасенія помѣщены въ ономъ на текущій счетъ, такъ какъ отнынѣ растраты перестали быть для общества обязательными.

Изъ участка пришелъ запросъ: не приметъ ли Сашенька мѣсто паспортиста?

И проч. и проч.

Словомъ сказать, депутаціи смѣняли одна другую, и всякая выражала Сашенькѣ свое удивленіе и благодарность за то, что онъ, бывъ высѣченъ паленькой, навсегда отказался отъ внутренней политики...

Къ сожалѣнію, по мѣрѣ того, какъ росла Сашенькина слава, самъ онъ становился все болѣе и болѣе самонадѣяннѣмъ. Нервы его уже притушились, а развязность дошла до того, что онъ началъ требовать отъ депутатовъ какихъ-то статистическихъ свѣдѣній, и когда они, натурально, не умѣли удовлетворить этому требованію, то онъ откровенно называлъ ихъ фофанами. И къ довершенію всего, мысль объ изданіи газеты нетолько не оставила его, но даже вполне въ немъ созрѣла, такъ что онъ однажды совсѣмъ уже грубо спросилъ меня:

— Что же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газеты? Предупреждаю васъ, что если вы будете мямлять, то я рѣшусь издавать одинъ!

Тогда я понялъ, что времена созрѣли, и, призвавъ на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнулъ:

— Ну, Сапа! воля твоя, а въ видахъ твоего же собственнаго спасенія, я долженъ высѣчь тебя!



## ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ.

Для писателя нѣтъ болѣе награды, какъ имѣть публику, которая настолько ему вѣритъ, что даже отъ времени до времени удостоиваетъ его непосредственнымъ съ собою общеніемъ. Я могу считать себя однимъ изъ такихъ счастливицевъ. Говорю объ этомъ не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Увѣренность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волненіями, которое въ вашей работѣ видитъ не балагурство, а убѣжденность, которое понимаетъ, что служеніе литературѣ есть путь трудный и до извѣстной степени даже сопряженный съ калѣчествомъ—это увѣренность, говорю я, не только пріятная, но почти равняющаяся наслажденію. Наглотившись отъ представителей современнаго русскаго критиканства разныхъ эпитетовъ, въ родѣ „непочтительнаго хама“, „балагура“, „безсознательнаго шута“, ругателя“ и т. д., пріятно убѣдиться, что эпитеты эти не пользуются симпатіями въ средѣ читающей публики. И я во-истину имѣлъ возможность убѣдиться въ этомъ, потому что, за все время моей литературной дѣятельности, отношенія ко мнѣ читателей имѣли характеръ почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ по поводу „Дворянской

хандры“, въ другой разъ не помню, по какому поводу) неизвѣстные корреспонденты писали мнѣ: замолчи... бесполезный старикъ! И, помнится, я даже серьёзно задумался надъ этимъ предостереженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, не нора ли это занятіе прекратить? Вѣдь настоящаго слова, какъ ни бейся, все-таки не выговоришь, такъ не лучше ли по просту безъ затѣй замолчать? Но, сообразивъ всѣ доводы про и contra, я рѣшилъ иначе. Очень возможно, сказать я себѣ, что „старикамъ“ дѣйствительно приличнѣе думать о смертномъ часѣ, нежели о собесѣдованьяхъ съ живыми людьми, но вѣдь для дѣла тогда только бываетъ полезно, что вышедшій изъ лѣтъ рабочій снимаетъ съ себя тягло, когда на мѣсто его уже явился новый рабочій, а пожалуй и цѣлыхъ два. Но въ современной русской литературѣ мы видимъ явленіе совершенно противоположное: новыя рабочія силы появляются туго, а старыя сходятъ съ арены сами собой, естественнымъ путемъ. Стало быть, ежели, сверхъ того, старыя тягольники будутъ еще добровольно обречать себя на молчаніе, то, пожалуй, литература совѣтъ теченіе свое прекратить, и останется одно цензурное вѣдомство. А сверхъ того, и то еще сдается, что старики не все же одни праздныя слова говорятъ. Иногда выдастся чтонибудь и не бесполезное: воспоминаніе, справка, забытый, но не лишній по обстоятельствамъ образъ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный соръ, который заслуживаетъ только укора? Словомъ сказать, взвѣсивъ, разсудилъ и рѣшилъ дѣло въ свою пользу, то есть сталъ продолжать писать.

Но какъ ни пріятно, что читатели удостоиваютъ меня довѣріемъ, а нѣкоторые даже приносятъ жалобы и требуютъ распоряженія по онымъ, нужно сознаться, однакожь, что я не всегда и не все властенъ сдѣлать. Для меня это тѣмъ необходимѣе объяснить, что, не имѣя къ своему распоряженію канцеляріи, я не могу быть вполне исправнымъ

корреспондентомъ. и вслѣдствіе этого рискую подвергнуться упрекамъ въ нерадивости и бездѣйствіи власти, совершенно мною незаслуженнымъ, что со мною однажды ужь и случилось.

Я помню, въ періодъ такъ называемаго обличительнаго направленія моей литературной дѣятельности, я былъ буквально заваленъ всякаго рода жалобами на несправедливыя и несогласныя съ интересомъ казны дѣйствія различныхъ вѣдомствъ. И жалобы эти были не голословныя, но подерживались фактами, о которыхъ и сообщалось на предметъ „отдѣлки“ въ ближайшемъ „обличеніи“. Къ сожалѣнію, однакожь, я никакихъ существенныхъ распоряженій къ удовлетворенію этихъ жалобъ сдѣлать не могъ. Съ одной стороны, факты, изолированныя отъ жизненной обстановки, которая ихъ породила, представляютъ настолько скудный матеріалъ для воспроизведенія, что я совершенно не могъ воспользоваться ими для моихъ литературныхъ работъ, а съ другой—я не имѣлъ въ своемъ распоряженіи подчиненныхъ, при посредствѣ которыхъ могъ бы, по произволію, возстановить нарушенное право. Поэтому, мнѣ оставалось только указывать, что съ подобными жалобами надлежитъ обращаться не ко мнѣ, а въ правительствующій сенатъ.

Понятно, однакожь, что такого рода указаніе не могло не подѣйствовать на моихъ довѣрителей разочаровывающимъ образомъ. Вѣроятно, многіе изъ нихъ сказали себѣ: Эге! ты, видно, прытокъ, а не силенъ! а другіе прямо заподозрили, что я не то, чтобы не могъ, а не хочу, или лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ моимъ трудамъ, но вѣра въ могущество обличительнаго дѣла уже прекратилась. А вмѣстѣ съ тѣмъ, временно перемѣжилось и непосредственное общеніе между мною и моими довѣрителями.

Наступилъ періодъ затишья, въ продолженіи котораго я очень страдалъ. Довѣрители уже не обращались ко мнѣ съ жалобами, но, по прежнему, начали кому слѣдуетъ барашка въ бумажкѣ предлагать, приговаривая: этакъ-то будетъ прочнѣе. Выходило, что и какъ будто только спуталъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а какъ это фордыбаченье отстоять—средствъ не преподаль. Ходили даже такіе слухи, что многіе, увлеченные моими обличеніями, до такой степени оплошали, что внослѣдствіи вынуждены были цѣлыми стадами отчуждать барановъ, лишь бы возстановить потрясенную фордыбаченьемъ репутацію. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совѣсть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ себя въ правѣ не воспользоваться урокомъ.

Я сказалъ себѣ: до нынѣ я обличалъ мздоимцевъ и казнокрадовъ, но, въ противоположность всѣмъ моимъ намѣреніямъ, произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное: обличенія не только не прекратили мзду, но даже удесятрили размѣры ея. Правда, что одновременно и экономическія условія чиновническаго быта значительно осложнились, но главную причину увеличенія мзды все-таки составляло обличеніе. Опредѣляя размѣры предстоящаго приношенія, мздоимецъ говорилъ: вотъ эта часть—по бывшимъ примѣрамъ, вотъ эта—по случаю увеличенія цѣнъ на съѣстные припасы, а вотъ эта—на случай обличенія. При чемъ, послѣдняя доля, навѣрное, равнялась семи десятымъ общей суммы приношенія. Все это прямо указывало, что мздоимецъ слѣдуетъ оставить въ покоѣ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока между ними и обывателями не состоитъ полюбовное соглашеніе, которое на прочныхъ основаніяхъ установить ихъ взаимныя отношенія.

Сказано—сдѣлано. Но вопросъ: о чемъ же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу—какую? Вотъ тогда-то именно я и принялъ рѣшеніе, при кото-

ромъ остаюсь и до сихъ поръ: писать такъ, чтобы всѣмъ было одинаково пріятно, и мздоимцамъ, и партикулярнымъ людямъ.

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжигъ найдется, которыхъ, ежели начать перебирать, то, навѣрное, читатель останется доволенъ. Деруновъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ—какихъ еще героевъ надо! Отечество продаютъ, присныхъ обездоливаютъ, женъ и дѣвъ въ соблазнъ вводятъ—ужели такъ имъ это и простить?

А сверхъ того, и еще: очень ужъ жить тяжело становится; почти противно. И не отъ того одного, что харчи съ каждымъ днемъ дорожаютъ, а отъ того, что вообще какъ-то не по себѣ. Все думается: когда же нибудь, однако, она начнется, эта самая жизнь, а она вмѣсто того, только пуще да пуще въ глубь уходить. Пожалуй, такъ, наконецъ, схоронится, что и отыскать нельзя будетъ. Какъ хотите, а это тоже сюжетъ, о которомъ, хотъ и безъ пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, обзывающіе меня балагуромъ, сейчасъ же изловить меня. Зачѣмъ, скажутъ, ты вклеилъ фразу „хотя и безъ пользы“? вѣдь это ты сбалагурилъ?—Нѣтъ, я не сбалагурилъ; напротивъ, я совершенно искренно и серьезно убѣжденъ, что, по нынѣшнему времени, говорить можно именно только безъ пользы, то есть безъ всякаго разсчета на какія-нибудь практическія послѣдствія. Но для чего-жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы отъ времени до времени напоминать самому себѣ, что даръ слова не есть

Даръ напрасный, даръ случайный,

но дѣйствительное отличіе чловѣка отъ безсловесныхъ.  
Только для этого.

И вотъ, настроивши лиру, я началъ бряцать. И чѣмъ

больше брицаль, тѣмъ шире растворялись сердца и прочнѣе возстановлялось интимное общеніе, которое временно пошатнулось подъ вліяніемъ тщеты обличей. Должно быть, въ сердцахъ читателей порядочно-таки наболѣло; должно быть, и имъ по горло надоѣли всѣ эти неуклюжие осуществители самоновѣйшихъ принциповъ современности, эти проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую нору нельзя уйти, чтобъ они не заплзали слѣдомъ и не присосались. Да надоѣлъ и самый жизненный процессъ. Не живешь, а въ оцѣпенѣніи движешься, словно выморочное имущество, которымъ вслкій встрѣчный помыкаетъ, покуда, наконецъ, не выйдетъ рѣшеніе: имущество сіе, яко выморочное, отписать въ казну.

Нѣтъ спора, что преспективы, на которыя я указываю, не весьма заманчивы, но коль скоро онѣ не отталкиваютъ, но привлекаютъ партикулярнаго человѣка, то это значить, что послѣдній самъ видитъ ихъ неизбѣжность, самъ болѣетъ тѣми же болями, какими болѣю и я. Нашъ недугъ общій, только онъ не для всѣхъ и не всегда ясенъ, и въ большинствѣ случаевъ, онъ выражается лишь въ смутномъ сознаніи, что человѣка какъ будто не прибываетъ, а убываетъ. Но когда причины, обусловливающія тревогу, выясняются, то это не только не раздражаетъ, но даже въ извѣстной степени смягчаетъ причиняемое недугомъ страданіе. Ибо уже въ самомъ указаніи признаковъ недуга партикулярный человѣкъ очерчиваетъ для себя косвенное облегченіе. Помилуйте! доннѣ онъ изнывалъ, какъ слѣпецъ, а отчасти даже суевѣрно трепеталъ передъ обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, отъ вѣковъ опредѣленную—и вдругъ, благодаря объясненіямъ, смѣшенія эти устраняются! Явленія утрачиваютъ громадныя пропорціи, которыя такъ давили воображеніе, и размѣщаются въ томъ порядкѣ, въ какомъ имъ естественно быть надлежитъ... Ужели это не утѣшеніе? ужели не утѣ-

шеніе сказать себѣ: сначала—ясность, а потомъ—что Богъ дастъ?

Въ сентябрѣ, я получилъ цѣлую массу писемъ, которыя доказали мнѣ, что публика именно съ этой точки зрѣнія, относится къ моимъ посильнымъ литературнымъ трудамъ. Моя хроника „1-е августа“, повидимому, произвела свое дѣйствіе, то есть заставила даже такихъ упорныхъ противниковъ, какъ Тарасъ Скотининъ и Деруновъ признать за моими писаніями нѣкоторую пользу. Изъ числа этихъ писемъ, я позволяю себѣ привести здѣсь только нѣсколько наиболѣе характерныхъ.

„Руку, землякъ! Собственность признаешь, семейство пріемлешь, государство чтишь—на что лучше! Разумѣйте, языцы—и разговору конецъ!

„Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень нынче нужно объ собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ въ нашей мѣстности слабо стало. Даже племянникъ мой, Митрофанъ, и тотъ онными идеями заразился, и вотъ ужъ который годъ мы оба изъ камеры мирового судьи не выходимъ, все судимся. По сей причинѣ даже въ Петербургъ сколько разъ надумывалъ ѣхать: хочется отъ хорошихъ адвокатовъ узнать, не могу ли я, какъ старшій въ родѣ, Митрофана въ смиренный домъ посадить? Сказываютъ, у васъ такіе адвокаты есть, которые могутъ доказать, что старшіе даже съчъ младшихъ право имѣютъ, но я сего ужъ не добиваюсь, а хотя бы въ смиренный домъ. Наши же пензинскіе адвокаты на сей счетъ тройко говорятъ: ежели я больше дамъ, то якобы можно; если Митрофанъ больше дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дамъ, то и опять выходитъ, что можно. Такъ что и се-

мейный союзъ будто бы отъ того зависить, кто лишній полтинникъ дастъ!

„Да, слабо нынче вообще—это вы вѣрно, мой другъ, угадали. Съ тѣхъ поръ, какъ объявили ядовитую оную волю, и собственность и семейство—все врозь пошло, а объ государствѣ даже и не знаемъ, что сей сонъ означаетъ. Еще въ Пензѣ мы, по мѣрѣ силъ, крѣпимся, а что въ сосѣдней Саратовской губерніи и въ Войскѣ Донскомъ по сему случаю творится—даже я, Тарасъ Скотининъ, безъ слезъ взирать не могу! Ужь на что сестрица моя, госпожа Простакова—и та съ тѣхъ поръ, какъ въ Балашовское свое имѣніе переѣхала, сейчасъ же противъ священныхъ сихъ основъ вооружилась! Начала съ того, что Митрофана прокляла, а нынѣ и на меня, старшаго брата своего, войною пошла! Имѣть я съ нею процессъ о землѣ и благодареніе Богу, усилю ту землю въ первой инстанціи законнымъ образомъ у нея оттягать. И что жъ бы вы думали! вмѣсто того, чтобъ покориться волѣ Божьей, и безпрекословно мнѣ землю изъ рукъ въ руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ея въ домѣ моемъ приютъ далъ, она подала на апелляцію, а Митрофанъ, сверхъ того, научилъ еще и прокурору заявленіе подать, будто бы съ моей стороны подлогъ въ дѣлѣ семъ совершенъ. И нынѣ, по апелляціи, вновь это дѣло разсматривается, а обо мнѣ слѣдствіе производится! Такъ вотъ въ какомъ положеніи находится въ Саратовской губерніи семейный союзъ!

„И такъ, по сему случаю, а равно и по другимъ подобнымъ предвижу необходимость быть въ Питерѣ. Можетъ быть, у васъ насчетъ сего покрѣпче. И непременно у тебя, землякъ, остановлюсь: авось либо въ литераторскихъ палатахъ для стараго друга уголь найдется. Вѣдь по правдѣ-то сказать, мы не только земляки, но и родные: всѣ отъ одного древняго Прогорѣловскаго рода линію-то



ведемъ, и всѣ одинаково съ 61-го года въ подсудимыхъ значимся!

*Тарасъ Скотининъ.*

„По приказанію его превосходительства г. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Рудина, имѣю честь Васъ, Милостивый государь, увѣдомить, что выраженные Вами въ статьѣ-хроникѣ „Первое Августа“ чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительствомъ вполне съ обстоятельствами дѣла сходственными и одобренія достойными.

„Дѣлопроизводитель Лаврецкій“.

*Сбоку приписано рукою г. Лаврецкаго:* Считаю приятнымъ долгомъ съ своей стороны, присовокупить, что объясненія Ваши произвели столь благопріятное впечатлѣніе, что его превосходительство вызвалъ къ себѣ автора огорчившей васъ статьи „Наши охранители и наши прогрессисты“, и просилъ его, въ личное для себя одолженіе, изъ списка неблагонадежныхъ элементовъ васъ исключить. На что и получено благосклонное увѣреніе, что надлежащее по сему предмету распоряженіе будетъ немедленно сдѣлано“.

„Душка Щедринъ!

„Вотъ въ чемъ дѣло, расскажу поскорѣе. Когда умеръ папаша, ничего послѣ него не осталось; даже домъ нашъ въ Миргородѣ—и тотъ оттягалъ ненасытный Довгогчунъ. И вотъ я нереѣхала на житье къ тетенькѣ Теодуліи Ивановкѣ Собакевичевой, которая, послѣ смерти дяденьки, осталась совсѣмъ одна, потому что, во время воли, всѣ дворовые, а въ томъ числѣ и вѣрный Неуважай-Корыто, разбѣжались. И вотъ, пріѣзжаетъ къ намъ прошлою осенью

Павель Ивановичъ Чичиковъ и говорить, что теперь онъ ужь адвокатъ, и ѣздить по номѣщикамъ, разузнаеть, нѣтъ ли у кого процессовъ. И вотъ, тетенька ужасно ему обрадовалась и говоритъ: можете ли вы похлопотать, чтобы крѣпостное право хотя на тѣхъ вновь распространить, которые для прислугъ и полевыхъ работъ необходимы, а прочіе чтобы оброкъ платили? И онъ охотно на это согласился, и довѣренность тутъ же написали, а марки онъ съ собой гербовыя возить—стоитъ только послунить, и дѣлу конецъ. И вотъ, тетенька сорокъ рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, въ которой онъ въ 1841 году ночевалъ. И адресъ уѣзжая онъ намъ оставилъ: „С.-Петербургъ-Москва, на станціи, спросить буфетчика Петра, а васъ, милостивый государь, прошу передать кому знаете“. И какъ у насъ нѣтъ прислуги, то мы повѣрили. И вотъ, мы ждемъ. И вотъ, черезъ девять мѣсяцевъ, у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взялъ впередъ сорокъ рублей денегъ, то я и повѣрила, что будетъ твердо, онъ же хоть бы строчку написалъ, а между прочимъ, и на счетъ сына—развѣ это не подлость? И вотъ, теперь за меня хорошій человекъ сватается, Мижуевъ-Өетюкъ, и съ сыномъ вмѣстѣ беретъ, а я боюсь, и тетенька боится: вдругъ, ежели Павель Ивановичъ приѣдетъ! А теперь намъ говорятъ, что Павель Ивановичъ все это на смѣхъ сдѣлалъ и адресъ будто бы фальшивый оставилъ—вѣдь это такая ужь подлость, что мы съ тетенькой думаемъ: неужто и этому вѣрить? И вотъ, мы не знаемъ, какъ въ этомъ случаѣ быть, потому что мы женщины, а для женскаго пола, говорятъ, законъ не писанъ. Даже Неуважай-Корыто—и тотъ насъ оглашенными называетъ, и мы не возражаемъ, боимся, какъ бы не вышло хуже. И вдругъ, тетенькѣ мысль пришла: напишемъ, говорить, къ г. Щедрину! Онъ такъ собственность и семейство уважаетъ, что непременно за насъ за-

ступитесь! А объ государствѣ, говорить, покуда не проси! и такъ какъ-нибудь, по женской своей должности, проживемъ!

„И вотъ я беру перо.

„Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ смѣшномъ видѣ представить, но такъ, чтобы Павелъ Ивановичъ непремѣнно прочиталъ! Я увѣрена, что если вы захотите, то онъ раскается и опять къ намъ прійдетъ. А комната у насъ для него готова. И ежели онъ по тетенькиной довѣренности ничего не выхлопоталъ, все-таки пусть пріѣзжаетъ, или, по крайней мѣрѣ, пусть хоть письмо пришлетъ, могу ли я за господина Мижуева выйти? А я какъ вамъ буду за это, голубчикъ, благодарна... вотъ увидите!

„Ваша по гробъ

Ганочка Перевъзникова“.

„Милостивый Государь.

„Прочивъ Вашу статью „Первое августа“, я съ удовольствіемъ извѣстился, что Вы собственность признаете, семейство приѣмаете, государство чтите. Посему, ежели при извѣстномъ свиданіи \*), въ разговорѣ на счетъ армій и флотовъ, что-нибудь ненарочно сказалось, въ томъ прошу великодушно меня извинить, отвеся оное на счетъ моей простоты.

„При семъ нелишнимъ, однакожь, почитаю представить на благоусмотрѣніе Ваше нижеслѣдующія мои соображенія:

„Пишете Вы, милостивый государь, что негодянтъ, ежели доподлинно собственность чтить, обязанъ дѣла свои въ такомъ видѣ имѣть, чтобы ежечасно быть готовымъ

\*) См. „Благонамѣренныя рѣчи“.

во всякомъ рублѣ передъ публикою чистосердечный отчетъ дать. Откуда тотъ рубль пришелъ и какъ составился? сколько въ немъ копеекъ законнаго прирѣтка и сколько— грабежа? Съ своей стороны, не отрицая пользы, которая отъ таковаго чистосердечія произойти можетъ, позволяю себѣ возразить лишь то, что, по званію нашему, одно что-нибудь: или дѣла дѣлать, или отчеты отдавать. Ибо званіе наше на этотъ счетъ довольно-таки строго, такъ что, если нужное для операций время мы станемъ употреблять для чистосердечіевъ, то операции запустимъ, а чистосердечіями никому удовольствія не предоставимъ.

„Второе, пишете Вы, ежели который человѣкъ свою собственность блюдетъ, тотъ долженъ и чужую наблюдать—то и сіе весьма пріятно. Но позвольте вамъ доложить: ежели я буду о собственности публики скорбѣть, то не послѣдуетъ ли отъ сего для меня изнуренія? а равнымъ образомъ, не дастъ ли оно партикулярнымъ людямъ такой повадки, что мы дескать будемъ праздно время проводить, а Деруновъ за всѣхъ насъ стараться станетъ? А награда—на небеси-съ?

„И еще замѣчаете Вы, что негоціанты, по роду своихъ занятіевъ, больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ своихъ время проводятъ, то и сіе справедливо. Думается, однакожь, что ежели мы оный родъ занятій повинемъ, то какъ бы намъ, въ ожиданіи другихъ занятіевъ, и въсье при одномъ Кунавинѣ не остаться.

„Что же касается наставленія Вашего, что необходимо первѣе всего отечество свое любить и въ пользу онаго жертвовать, то сіе безусловно вѣрно. И мы любить оное готовы, только не знаемъ, какъ. По сему, еслибы начальство насъ въ семъ смыслѣ руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежитъ, то, мнится, великая бы отъ сего польза произошла.

„Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же преданностью имѣю честь быть и проч.

Іосифъ Деруновъ.

„Милый cousin! Что такое ты написалъ, будто бы нынче мужчины больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ, время проводить? Что такое Кунавино? Я просила Филоѳея Иваныча мнѣ объяснить, но онъ говоритъ, что дамѣ такихъ вещей знать не слѣдуетъ. Но отчего же? Объясни мнѣ, пожалуйста, потому что, ежели я не буду знать, то все стану бояться, что вдругъ Филоѳей Иванычъ уйдетъ отъ меня въ Кунавино. И я останусь безъ всего.

„Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожить: денегъ мало. Сколько разъ хотѣла обратиться къ тебѣ, но Филоѳей Иванычъ, прочитавъ твою статью, говоритъ: коль скоро братецъ объ собственности сталъ поговаривать, то врядъ ли онъ склонность къ одолженіямъ сохранилъ. А я такъ думаю, что совѣмъ напротивъ... Cousin! милый! только тысячу франковъ... можно?

„Но какъ ты это хорошо сказалъ: „чужую собственность блюди, а свою—соблюдай!“—именно, именно такъ! И откуда ты такія тонкія замѣчанія почерпнешь! Филоѳей Иванычъ прямо говоритъ: еслибы все такъ было, какъ братецъ предположилъ, то ни мы, ни другіе ни въ чемъ бы не нуждались, и у всѣхъ было бы всего довольно! Не правда ли... милый!

A toi de coeur

Nathalie“.

„Прекрасно. Собственность признаешь, семейство—пріемлешь, государство—чтишь! А о Святой Церкви и служителяхъ ея... позабылъ?

Іерей“.

И полагаю, этихъ образцовъ достаточно. Имѣя въ свою пользу столь безспорныя свидѣтельства симпатіи, я смѣло могу смотрѣть въ глаза будущему, не опасаясь даже загадочнаго присовокупленія на счетъ церкви и ея служителей, которымъ меня почтило лицо, скрывшее себя подь псевдонимомъ „Іерей“.

## ПЕРВОЕ НОЯБРЯ.

Какъ ни страстно привязанъ я къ литературѣ, однако, долженъ сознаться, что, по временамъ, эта привязанность подвергается очень рѣшительнымъ испытаніямъ.

Когда прекращается вѣра въ чудеса—тогда и самыя чудеса какъ бы умолкаютъ. Когда утрачивается вѣра въ животворящія свойства слова, то можно почти съ увѣренностью сказать, что и значеніе этого слова умалено до металла звенящаго.

И кажется, что именно до этого мы дошли.

По старой, закоренѣлой привычкѣ, я какъ-то невольно обращаюсь къ сороковымъ годамъ и тамъ отыскиваю примѣровъ для сравненій. Не потому, чтобы я былъ пристрастенъ къ этой эпохѣ, видѣвшей мою молодость (я слишкомъ часто говорилъ о слабыхъ ея сторонахъ, чтобы быть заподозрѣннымъ въ пристрастіи), а потому, что тогда, сдается мнѣ, во истину существовала вѣра въ чудеса. Правда, что она дѣйствовала въ сферѣ довольно ограниченной, и не выходила изъ предѣловъ очень тѣснаго кружка, но мы, юноши того времени, мы, члены этого кружка, несомнѣнно ощущали на себѣ дѣйствіе этой вѣры. Мы пламенѣли, старали и чувствовали себя обновленными.

Я заранее готовъ согласиться, что воспитательное вліяніе литературы сороковыхъ годовъ было не особенно прочно, что оно почти не проникло въ жизнь, не создало въ послѣдней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывшіе слушатели лекцій Грановскаго слишкомъ легко освобождались отъ университетскихъ преданій и почти незамѣтно превращались въ самыхъ заурядныхъ помѣщиковъ, въ чиновниковъ-формалистовъ и даже въ нисцовъ служителей крѣпостныхъ дѣлъ. Все это, съ практической точки зрѣнія, конечно, представляло результатъ довольно обидный; но если даже предположить, что вѣра, о которой я говорю, составляла исключительное достояніе одной литературы, то и это уже былъ хорошій залогъ.

И чиновники, и помѣщики, и крѣпостныя дѣла—все это преходить, таетъ яко воскъ и исчезаетъ яко дымъ. Одна литература—не преходить и не исчезаетъ, и это свойство непреходимости сообщаетъ ея свидѣтельству особенную неотразимость и непрерѣкаемость.

Вѣра въ чудеса помогла литературѣ сороковыхъ годовъ отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную безрелигіозность, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ подъ ига всевозможныхъ давленій. Все это было настолько характеристично и плодотворно, что, по мнѣнію моему, въ этомъ одномъ можно безъ особой натяжки видѣть своего рода практической результатъ (а именно въ практической безрезультатности преимущественно и обвиняютъ литературу сороковыхъ годовъ). Идеалы и преданія, о которыхъ идетъ рѣчь, не изгибли и теперь. Всѣ книги сороковыхъ годовъ полны ими и желающіе возобновить ихъ въ своей памяти могутъ удовлетворить этому желанію очень легко, обратившись къ этимъ книгамъ. Конечно, идеалы эти для настоящаго вре-



мени нѣсколько устарѣли и представляются уже недостаточными, но ежели содержаніе идеаловъ и подлежитъ критикѣ, то отношеніе къ нимъ литературы и до нынѣ остается въ высшей степени поучительнымъ. Это то страстно-убѣжденное отношеніе, которое даже въ мертвыя тѣла вливаетъ духъ живъ, который даже пустыню призываетъ къ жизни. Такъ что, если бы современные литературные дѣятели нѣсколько чаще справлялись съ кладбищемъ сороковыхъ годовъ, то нынѣшняя литература не только не проиграла бы отъ того, а напротивъ, очень многое выиграла бы. По крайней мѣрѣ, я совершенно искренно убѣжденъ, что холодная остервенѣлость, которая нынѣ является единственнымъ средствомъ для оживленія страницъ и столбцовъ и для возбужденія въ читателѣ вождѣлвнн, исчезла бы сама собой и дала бы мѣсто стыду.

Но, кромѣ этого практическаго результата, былъ и другой, не столь рѣшительный, но за то болѣе непосредственный. Несмотря на свою изолированность, несмотря на полное отсутствіе воинствующихъ элементовъ, литература сороковыхъ годовъ, въ сущности, не оставалась безъ вліянія и на большинство тогдашней интеллигенціи. Какъ ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллигенціи, но въ молодыхъ ея отпрыскахъ уже можно было подмѣтить нѣкоторыя несомнѣнныя пробужденія, замѣчательныя по своей мучительной искренности. Создался особенный типъ „лишнихъ“ людей, не только скептически относившихся къ своей внутренней цѣльности, но и положительно изнемогавшихъ подъ игомъ двоегласія, источникомъ котораго была, съ одной стороны, литература, а съ другой—жизнь. Этотъ типъ былъ въ свое время очень усердно разрабатываемъ литературой, но онъ не былъ *видманг* ею, а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ изнемоганій и самобичеваній практически не было никому ни тепло, ни холодно, и что, въ большин-

ствѣ случаевъ, они были скоропреходящи, но сами по себѣ люди, страдавшіе двоегласіемъ, все-таки представляли извѣстную долю симпатичности. Сравните эти страданія внутренняго двоегласія съ несомнѣваемою цѣлостностью современныхъ проворныхъ людей, которые, съ хладной иѣной у рта, даже любовь къ отечеству готовы эксплуатировать въ пользу продажи распивочно и на выносъ—и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно было жить въ обществѣ людей, прямо называвшихъ себя „лишними“, то все-таки не такъ несомнѣнно мерзко, какъ жить въ обществѣ людей, для которыхъ все уже до того поскудно-ясно, что представленіе о рублѣ, въ смыслѣ привлекательности, уступаетъ лишь представленію о таковыхъ же двухъ, а если больше, то, разумѣется, и того лучше.

А наконецъ, былъ и еще практическій результатъ, который и до сихъ поръ говоритъ самъ за себя: идеалы сороковыхъ годовъ несомнѣнно послужили подспорьемъ при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса и осуществленіи прочихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Словомъ сказать, литература сороковыхъ годовъ уже тѣмъ однимъ оставила по себѣ неизгладимую память, что она была литературой серьезно убѣжденной. Не зная никакихъ свободъ, ежечасно изнемогая на прокустовомъ ложѣ всевозможныхъ укорачиваній, она не отказывалась отъ своихъ идеаловъ, не предавала ихъ, и не говорила себѣ въ утѣшеніе: живъ курилка, не умерь! Ибо „курилка“, собственно говоря, даже живъ не былъ, а только едва-едва тѣлся.

Какимъ образомъ случилось, что убѣжденность исчезла, что влеченіе къ идеаламъ сгнуло, что традиція литературной брезгливости оборвалась, и осталось только одно радованіе о томъ, что курилка не умерь—это объяснить нелегко. Почему-то мы проглядѣли этотъ переходъ, проглядѣли сами не знаемъ какъ: не то за дѣйствительнымъ

расширеніемъ задачъ, не то за наплывомъ безчисленныхъ нустяковъ. Достоверно одно: что литература во истину получила доступъ къ практической жизни, и что это дѣйствительно и въ значительной мѣрѣ освободило ее отъ той тяжелой изолированности, которая искони несноснымъ кошмаромъ тяготѣла надъ ней.

Это было явленіе совершенно новое, и такъ какъ литература устремилась къ нему съ пылкостью, то многіе думаютъ, что именно это общеніе съ низменностями жизни и повліяло на нее развращающимъ образомъ. Что касается до меня, то я не только не согласенъ съ этимъ толкованіемъ, но даже положительно утверждаю, что оно свидѣтельствуетъ о совершенномъ незнаніи истинныхъ задачъ литературы. Изолированность, конечно, имѣетъ свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно, еслибы эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы. Изолированность есть все-таки не болѣе какъ безмолвный отвѣтъ плѣннаго заложника, не могущаго ничѣмъ инымъ протестовать противъ глумленій торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этотъ удѣлъ для себя ни завиднымъ, ни желательнымъ. Отчуждая себя отъ жизни, она только обрекала себя, такъ сказать, на зимнюю спячку, но при этомъ отнюдь не теряла изъ виду, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца она, несомнѣнно, пробудится для бодрствованія. И вотъ эти лучи показались, а вмѣстѣ съ ними пришло и общеніе съ жизнью. Это общеніе всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы; оно одно можетъ вывести ее изъ оцѣпенѣлости, оно одно дастъ ей возможность перейти изъ области страдательной безразличности въ область

воздѣйствія и осуществленія тѣхъ воспитательныхъ цѣлей, которыя составляютъ основной смыслъ ея существованія, Общеніе не могло ни умалить ея идеалы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Совсѣмъ напротивъ. Какъ бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже потому одному не могутъ пострадать отъ прикосновенія къ нимъ, что интересы эти все-таки принадлежать тому униженному и оскорбленному человѣчеству, нравственное оздоровленіе котораго составляетъ благороднѣйшую мечту благороднѣйшихъ умовъ. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностяхъ идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательнымъ путемъ) могутъ найти для себя лишь поправку, опору и развитіе, но никакъ не смерть.

А между тѣмъ, мнѣніе, что идеалы пошатнулись и вѣра въ чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явленія слѣдуетъ искать совсѣмъ не въ общеніи литературы съ жизнью, а скорѣе въ тѣхъ черезчуръ своеобразныхъ формахъ, въ которыхъ осуществилось это общеніе.

На дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ „не твое дѣло“ на столько заматерѣлъ и вѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками — какая неожиданность можетъ быть горчѣе и чувствительнѣе этой?

Нашлись, разумѣется, личности, которыхъ такой оборотъ повергъ въ уныніе, но большинство литературы примирилось съ нимъ. Съ пустяками живетъ вольнѣе и безопас-

нѣе, да и разсуждать о пустякахъ легче: не нужно ни задуматься надъ работой, ни подготовиться къ ней. Пустяки быстро наворачиваются и столь же быстро отскакиваютъ, не оставляя по себѣ никакихъ „сердца горестныхъ замѣтъ“. Сверхъ того, пишущему о пустякахъ всегда кажется, что онъ находится въ центрѣ, если не настоящаго дѣла, то, по крайней мѣрѣ, той неусыпающей дѣловой сутолоки, которую очень легко искусственно взбудрить и подъ флагомъ благонамѣренности выдать, пожалуй, и за настоящее дѣло. Словомъ сказать, литературный трудъ настолько же облегчился, насколько упростились и самыя задачи литературы, и, благодаря этому, число желающихъ окунуться въ море пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и растетъ. Удивительно ли поэтому, что, имѣя такихъ проворныхъ дѣятелей, литература и сама до того всецѣло прониклась пустяками, что, въ случаѣ оскудѣнія пустяковъ реальныхъ, она ни мало не стѣсняется этимъ, но творить свои собственные, самостоятельныя пустяки.

Какъ бы то ни было, но пришлось убѣдиться, что спастись отъ пустяковъ уже по тому одному невозможно, что литература сама сдѣлала для себя невысказаннымъ возвратъ къ прежней безразличной изолированности. Съ одной стороны, изолированность приобрѣла какой-то неблагонамѣренно-подозрительный характеръ, съ другой—школа юркихъ практикантовъ какъ-то чрезвычайно быстро создала совѣсь новую публику, которая, въ свою очередь, ничего не хочетъ знать, кромѣ пустяковъ. Однимъ словомъ, и литература, и публика такъ удачно сдѣлались, что обѣ въ самый короткий срокъ уподобилась той низменной адвокатурѣ, которая подстерегаетъ пропущенные сроки и несоблюденныя формальности, подсаживаетъ противныя стороны внезапными закорючками и въ этомъ усматриваетъ осуществленіе правды и справедливости.

И такъ, убѣжденность оказывается подозрительною, въра

въ чудеса—ненужною и смѣшною, а между тѣмъ, литературное ремесло все еще продолжаетъ быть обязательнымъ. Это тоже своего рода двоегласіе, и на этотъ разъ неизбѣжное ни тѣни барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

И называлъ литературное ремесло обязательнымъ не потому единственно, что оно представляетъ наилучшее орудіе для служенія общественнымъ интересамъ, но также и потому, что оно, сверхъ того, даетъ извѣстное матеріальное обезпеченіе.

Какимъ образомъ человѣкъ становится литераторомъ, въ какой мѣрѣ въ этой метаморфозѣ играетъ роль призваніе и дѣйствительная талантливость, и въ какой—простая случайность?—это вопросъ, который я разрѣшить не берусь. Да и не въ немъ дѣло, а въ томъ, что разъ человѣкъ занялъ мѣсто въ литературныхъ кадрахъ, онъ, силою вещей, останется навсегда прикованнымъ этому мѣсту.

Во-первыхъ, никакой трудъ такъ не привлекателенъ, какъ трудъ умственный. Конечно, бываютъ историческіе моменты, когда умственный трудъ не въ особенномъ авантажѣ обрѣтается, но вѣдь въ такіе моменты и весь вообще жизненный уровень сводится къ нулю. Стало-быть, называться литераторомъ все-таки лестнѣе, нежели слыть партикулярнымъ шлющимся человѣкомъ. Во-вторыхъ, занятіе литературой создаетъ извѣстныя привычки, предполагаетъ излюбленныя связи и даже специальную обстановку, которую нарушить не только трудно, но и мучительно. Въ-третьихъ, даже разработка пустяковъ представляетъ довольно сложный процессъ, въ которомъ имѣются свои отправные пункты, а слѣдовательно, предполагаются и выводы. И человѣкъ, предпринявшій этотъ процессъ, непременно увлечется имъ настолько, что будетъ дробить и множить свои пустяки до безконечности, и все-таки ему будетъ казаться, что онъ не все еще вычерпалъ, а вотъ

ужо такую глыбу выкатить, которая всё доселѣ извѣстные пустяки въ ничто обратить. А въ-четвертыхъ, повторяю: не послѣднее значеніе имѣть въ этомъ случаѣ и матеріальный вопросъ...

Такимъ образомъ, дни проходятъ за днями, а литераторъ все остается прикованнымъ къ своему посту.

Онъ остается тутъ, хотя убѣжденность представляется подозрительной и вѣра въ чудеса—смѣшною. Но въ такомъ случаѣ, во имя чего же и зачѣмъ онъ, вѣрующій въ чудеса, продолжаетъ держаться и дѣйствовать въ этомъ странномъ помѣщеніи, гдѣ нѣтъ ни убѣжденности, ни чудесъ?

Пустяки—противны; общіе принципы—недоступны. Или, виновать: послѣдніе, пожалуй, повременамъ и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сѣткою безчисленныхъ околичностей, которыя самое ремесло проведения принциповъ дѣлаютъ почти безнравственнымъ.

Во имя чего же? Зачѣмъ?

Ужели только во имя того и затѣмъ, чтобы ѣсть хлѣбъ и въ то же время защитить свою шкуру? и чтобы имѣть легкомысленное удовольствіе сказать: живъ курилка, не умеръ?

Но вѣдь это-то именно и омерзительно.

Годъ приходитъ къ концу, страшный годъ, который неизгладимыми чертами врѣзался въ сердца каждого русскаго. Даже въ худшія эпохи, ничего подобнаго этому несчастному году лѣтоисси русской жизни едва ли представляли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ кончаются и мои періодическія бесѣды съ читателями. Въ первоначальномъ намѣреніи, бесѣды эти должны были отражать въ себѣ злобу дня и, въ то-же

время, служить поводомъ для воспроизведенія нѣкоторыхъ типовъ, которые казались мнѣ не безынтересными. Я долженъ, однакожь, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнилъ.

Въ моихъ литературныхъ работахъ юмористическій элементъ является преобладающимъ; но послѣ такихъ дней, какъ 2-е апрѣля и 19-е ноября, право, не до юмора. Поэтому, многое въ моихъ бесѣдахъ оказалось невыясненнымъ, прерваннымъ и даже прямо недоконченнымъ. Мнѣ казалось, наприимѣръ, что нетолько любопытно, но даже и необходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими типами, какъ Оединька Неугодовъ или Сашенька Ненабочный, которые, каждый съ своей точки зрѣнія, претендуютъ на осѣдланіе отечества; сверхъ того, мнѣ сдавалось, что и самое изображеніе процесса „осѣдланія“ можетъ быть небезполезно; но какая же возможность выполнить подобныя задачи, въ виду такого угнетенаго настроенія, въ которомъ находится общество? Литературное занятіе, какъ бы ни скромно было его значеніе, прежде всего требуетъ спокойствія и нѣкоторой увѣренности въ томъ, что оно не стоитъ въ разрѣзъ съ вѣяніями минуты; но ни этого спокойствія, ни этой увѣренности я не имѣлъ. А потому, и для меня самого въ значительной мѣрѣ утратилась ясность тѣхъ типовъ и представленій, которыя первоначально казались совершенно опредѣленными. Тамъ, гдѣ надо было говорить безъ умолчаній, я ограничивался намеками; тамъ, гдѣ надо было прибѣгнуть къ дѣйствительному изслѣдованію, я просто-на-просто обходилъ.

Я не скажу даже, что въ этомъ случаѣ главную роль играло внѣшнее давленіе. Конечно, не было недостатка и въ немъ; но, главнымъ образомъ, все-таки дѣйствовала общая внутренняя пригнетенность, которая пришла какъ-то сама собой. Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ, но всякій, въ комъ злоба дня не до конца притуп-



нила способность мыслить. И, разумѣется, въ томъ числѣ сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что въ этомъ общемъ хорѣ унынія, почти граничащаго съ безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, голоса звонкіе, увѣренные, даже какъ бы почти торжествующіе, но, признаюсь, откровенно, эта звонкость не только не приброяла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явленія, которыя до такой степени захватываютъ общество въ его настоящемъ и будущемъ, что передъ ними должно умолкнуть самое звонкое пустословіе. Если же оно не только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выускаетъ цѣлыя массы безсодержательнѣйшей канители, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы это былъ примѣръ достойный подражанія. Напротивъ того, я совершенно искренно убѣжденъ, что это канитель не только безсодержательная, но и прямо злобредная.

Люди наивные, искренніе, выражающіе свои чувства въ мѣрѣ своего пониманія и развитія, несомнѣнно, всегда заслуживаютъ уваженія. Въ этомъ случаѣ, формы не играютъ никакой роли, и критика не имѣетъ права не только оцѣнивать ихъ, но даже просто прикасаться къ нимъ. Они наивно-правдивы—вотъ все, что можно объ нихъ сказать. Но ужасно, когда овечій образъ принимаютъ на себя сущіе волки, и когда эти волки, подъ формами звонкаго пустословія, желаютъ прикрыть не только личное безсиліе и безсердечіе, но и всевозможныя корыстныя и низменныя цѣли, которыя заграждаютъ передъ ихъ глазами свѣтъ Божій. Вотъ этихъ-то волковъ въ овечьей шкурѣ развелось въ послѣднее время такъ много, что начинаетъ уже рождаться сомнѣніе, не заполонятъ ли они литературную ниву въ конецъ.

Я не буду здѣсь приводить примѣровъ—Богъ съ ними! не до примѣровъ теперь!—но скажу прямо, что иногда дѣлается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это

тѣ самыя буквы, тѣ самыя слова, употребленіе которыхъ до сихъ поръ казалось вполне естественнымъ?

Поэтому, когда я на дняхъ прочиталъ въ одномъ журналѣ, что унылый тонъ, господствующій въ современной русской литературѣ, доказываетъ, что литература эта не стоитъ на высотѣ своего призванія, ибо ей надлежитъ ободрять общество, а не вливать въ него ядъ меланхолии, то, признаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто уныніе такъ легко превращается въ бодрость и на оборотъ, что стоитъ стоять только пожелать—и все пойдетъ какъ по маслу? Неужто не существуетъ болѣе глубокихъ причинъ, которыя въ извѣстныхъ случаяхъ уныніе, а въ другихъ надежду и бодрость, дѣлаютъ явленіемъ не только понятнымъ, но почти обязательнымъ?

Я, по крайней мѣрѣ, думаю, что такія причины существуютъ, и что покуда онѣ состоятъ на лицо, никакія простодушныя подбадриванія не произведутъ желаемого дѣйствія. Помилуйте, если ужъ инсинуаціи и устрашенія не помогаютъ, то какую же силу можетъ имѣть простой дружескій совѣтъ! Правда, что въ провинціальныхъ театрахъ (особливо въ тѣхъ, которые побѣдѣ персоналомъ) и дониндѣ существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ же актеръ сначала является въ роли перваго трагика, а потомъ, вслѣдъ за симъ, въ роли перваго комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагикъ надѣваетъ бланжевый парикъ и голубые штаны—этого совершенно достаточно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со смѣху. Но въ литературѣ подобныя метаморфозы едва ли мыслимы.

## ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ.

(«ВЕЧЕРОКЪ»).

...По временамъ, мы, однакожь, собираемся, а иногда даже и бесѣдуемъ. Впрочемъ, безъ ясной программы и безъ одушевленія, а такъ, словно привычный обрядъ соблюдаемъ.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность въ разрѣшеніи „вопросовъ“ чувствовали. Много было тогда вопросовъ, хотя, должно сознаться, что большая часть ихъ обязана была своимъ происхожденіемъ не столько дѣйствительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Какъ бы то ни было, но вопросы эти занимали насъ. и ни мы, ни люди, читавшіе въ сердцахъ нашихъ, не находили ничего въ томъ предосудительнаго. Предполагалось, что таково ужъ свойство человѣческой природы вообще: интересоваться болѣе или менѣе широкими обобщеніями—вотъ и все. И мы слѣдовали этому указанію человѣческаго естества, то есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмемъ, на примѣръ, вопросъ о „подоплѣкѣ“—но нынѣшнему времени это чѣмъ пахнетъ? А прежде мы не справлялись, чѣмъ пахнетъ, а прямо приступали. Плѣ-

шивцевъ доказывалъ, что тотъ только народъ можетъ благополучнымъ себя почитать, который подошлѣку свою въ чистотѣ сохранилъ; напротивъ того, Тебенъковъ утверждалъ, что подошлѣка только пугаетъ. Отсюда споръ, пререканія и даже вражда. Вмѣшается въ эту распрю Положиловъ и спросить: „а въ самомъ дѣлѣ, господа, что такое подошлека?“—на что Глузовъ немедленно отвѣтитъ: расшнурочно и на выносъ. И всѣ разсмѣются, ибо знаютъ, что никакого вздсканія за это не будетъ.

Или вопросъ о томъ: кто больше заслужилъ, Москва или Петербургъ? Или еще: на какой предметъ родится человекъ? для того ли, чтобъ быть счастливымъ, или для того, чтобы лить слезы? А? чѣмъ это, по нынѣшнему времени, пахнетъ?

А мы обо всемъ разговаривали безбоязненно и даже фаланстеровъ не чуждались. Знали, что фаланстеровъ намъ, конечно, не дадутъ, но въ то же время вѣрили, что и телятъ макаровыхъ пасти не предоставятъ... За что? Въдъ все это „человѣческое“, а „человѣческимъ“, какъ извѣстно, грады и веси цвѣтуть...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тутъ же сидитъ, слушаетъ и не нарадуется на насъ. И тоже навѣрное знаетъ, что фаланстеровъ намъ не дадутъ.

Нынче, повторяю, мы собираемся, единственно какъ бы выполняя заведенный обрядъ. О „вопросахъ“—не поминаемъ, а „разрѣшеній“—даже опасаемся. Боимся, чтобы въ газетахъ какъ-нибудь не прослышали, что вотъ-дескать такъ и такъ, отечество въ печали находится, а на такой-то улицѣ, номеръ дома такой-то—„подошлѣку“ опредѣляютъ... Поэтому, бесѣды наши имѣютъ характеръ угнетенный, отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ объ другомъ думаютъ, и только ради приличія языкомъ шевелятъ. Одна мысль явственно давитъ всѣхъ: ужели дѣйствительность, среди которой мы живемъ,

есть действительность конкретная, а не кошмаръ? Но развѣ это мысль?—Нѣтъ, это не мысль, а только удлиненное, въ согласность съ требованіями времени, междометіе. А Поликсена Иванова слушаетъ это тысячекратно-повторяемое междометіе, и не радуется, а беспокоится, какъ бы изъ этого чего не вышло.

И такъ, мы собираемся. „Мы“, то есть старикъ, выдавшіе виды. Всякіе виды мы видѣли, а такихъ не видали. Поэтому, весьма натурально, что въ недоумѣніи мы спрашиваемъ себя: неужто-жь и еще виды будутъ? И въ ожиданіи отвѣта, чувствуемъ, какъ мало по малу въ насъ упраздняется способность къ построенію силлогизмовъ. Еще чуточку—пожалуй, упразднится и самый даръ слова.

Да, была уже рѣчь и объ этомъ. На дняхъ, собрались мы, по обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ—солднѣй чинovníкъ, но все еще крѣпится, не чуждается насъ, бывшихъ школьныхъ товарищей, а нивѣ вольнаго поведенія людей), и вдругъ кому-то вздумалось:

— А что, господа, даръ слова, напимѣрь... Действительно ли это драгоценнѣйшій даръ природы, какъ въ старинныхъ сказкахъ сказывали, или такъ только, какъ верза, допущенная въ видахъ удобнѣйшаго подсиживания чловѣковъ?

И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть предложенъ. Напротивъ, всѣ какъ будто оживились, и сейчасъ же рѣшили, что, по нынѣшнему времени, гораздо удобнѣ мычать, нежели, вмѣстѣ съ вѣщимъ Балномъ, „шизымъ орломъ ширять подъ облакъ“.

— Вчера я новокупленнаго быка въ деревню отправлялъ, сказалъ Положиловъ:—такъ это нельзя себѣ представить, какъ онъ пріятно мычалъ. Со всего околodka дворняжки сбѣжались, слушали и хвалили!

— А мы вотъ не можемъ мычать! грустно отозвался Тебеньковъ.—Говорить должны.

— Оттого никто насъ и не хвалить, еще безнадежныѣ молвилъ Глумовъ.

Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и нѣкоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимаютъ благопотребное, по обстоятельствамъ, направленіе; но немного погоды, спохватилась и даже тутъ усмотрѣла какую-то „политическую подкладку“. Пошла на цпочкахъ за дверь, глинула, нѣтъ ли кого въ сосѣдней комнатѣ и, разумѣется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ вдругъ кто-то „шмыгнуть“ (должно быть, репортеръ изъ „Красы Демидрова“). Однимъ словомъ, возвратилась къ намъ разстроенная, и немедленно же задала мужу голово-мойку.

— Ужь когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермолаичъ! сказала она:—нельзя такъ, мой другъ! Нельзя утромъ въ департаментъ ходить, а вечеромъ язычкомъ чесать!

— Помилуй, голубушка! оправдывался Положиловъ:—при чемъ тутъ „язычекъ“? Я отъ всего сердца, а ты...

— Шуты, мой другъ, шуты! А вотъ когда-нибудь Филиппъ (служитель у Положиловыхъ)... Самъ говоришь, что онъ „репортеромъ“ при „Красѣ Демидрова“ состоитъ, а между тѣмъ... Ну, я готова голову на отсѣченіе отдать, ежели это не онъ сейчасъ въ гостиной шмыгнуть!

И вдругъ, всѣ мы, словно сговорившись воскликнули:

— Господи! да неужто-жь это не кошмаръ!

Минуть съ пять послѣ этого мы молчали, а можетъ быть, и совсѣмъ, съ Божьею помощью, лишились бы дара слова, еслибъ Глумовъ не напомнилъ, что какова пора ни мѣра, а даръ сей, пожалуй, еще службу сослужить можетъ. Не скоро, конечно, а такъ, послѣ дождичка въ четвергъ...

— Нужио сказать правду, вывелъ онъ насъ изъ оцѣненія:—что жизнь животныхъ вообще... я говорю безъ при-мѣненія, господа! Поликсена Ивановна! прошу васъ, не

тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ говоря вообще, жизнь животныхъ представляетъ нѣкоторыя несомнѣнныя преимущества, которыми человѣкъ непремѣнно долженъ былъ бы завидовать, еслибъ прöderзостно не мнилъ себя царемъ природы. Не говоря уже о безпечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровномъ расположеніи духа—какія драгоцѣнныя гарантіи представляетъ одна такъ называемая политическая благонадежность! Возьмемъ, на примѣръ, хоть новокупленнаго Положиловскаго быка. Я совершенно убѣжденъ, что въ настоящую минуту онъ мычитъ себѣ полегоньку, и даже „Вѣстникъ Общественныхъ Язвъ“ ни въ чемъ его не подозрѣваетъ. И горюшка ему мало, шмыгнуть или не шмыгнуть „репортеръ“ въ сосѣднемъ стойлѣ. Стоитъ онъ и жвачку жусть, а надоѣсть стоять—ляжетъ; такъ, въ собственный павозъ и ляжетъ, какъ редакторъ какой-нибудь „Красы Демидрона“ — въ собственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправданія, ни раскаяваться, ни даже въ одиночку трепетать! Весь онъ, всѣмъ существомъ своимъ, такъ сказать, свидѣтельствуешь...

— Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа! взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумовъ умолкъ, мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

— Господи! да пеужто-жь это не кошмаръ!

Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тебенъкова.

— Позвольте, господа! сказалъ онъ: — я нахожу, что Глумовъ только отчасти правъ. Нѣтъ спора, что участь быковъ блаженна, однакожь, и они, какъ о томъ свидѣствуется во всѣхъ курсахъ зоологіи, въ виду извѣстныхъ пертурбацій природы, имѣютъ свойство выражать безпокойство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабонѣ...

— Ахъ, господа, господа! и т. д.

Словомъ сказать, вопросу о быкѣ и его свойствахъ такъ

и не суждено было пройти сквозь горнило всестороннего обсуждения. Наступило настоящее, серьезное молчаніе, такое молчаніе, о которомъ принято говорить: дуракъ родился! такъ что нѣкоторое время только и слышно было, какъ Плъшивцевъ дуетъ въ блюдечко съ чаемъ, а Глумовъ грызетъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря, влетѣлъ десятилѣтній первенецъ Положиловыхъ, Ваня и крикнулъ:

— Господи! да неужто-жь...

Это было такъ неожиданно и въ то же время до того совпало съ настроеніемъ минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчикъ остановился и изумленными глазами оглянулъ насъ.

— Чтò тебѣ? объ чемъ ты, голубчикъ? обратилась къ нему Поликсена Ивановна!

Но мальчикъ ужъ заупрямился, и только послѣ долгихъ разспросовъ и удостовѣреній, что „дяденьки“ смѣются со всѣмъ не надъ нимъ, а сами надъ собой, открылся, что вопросъ его заключался въ томъ: неужто-жь и завтра, и послѣ-завтра, и послѣ-послѣ-завтра — каждый день все греческія склоненія будутъ?

— По обстоятельствамъ нынѣшняго времени... началъ было объяснять Тебеньковъ, но Поликсена Ивановна такъ строго взглянула на него, что я невольно уподобилъ ее рожавшей львицѣ, у которой замислили отнять ея дѣтеныша.

— Другъ мой! сказала она Ванѣ:—никогда не позволяй себѣ роптать! Добрый мальчикъ долженъ безпрекословно выполнять то, чего требуютъ наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть можетъ, тебѣ и трудненьго кажется, но за то въ будущемъ какъ отрадно...

Она не докончила, утерла Ванѣ носикъ, и, подавая ему бубликъ, присовокупила:

— На, кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у



меня пай-мальчикъ, и навѣрное ужь приготовилъ къ завтраму уроки, то скажи Аринушкѣ, что бай-бай пора.

Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды потревоженная „каверза“ (даръ слова) уже не унималась. И я первый опцутилъ на себѣ живучесть ея.

— Получилъ я на дняхъ письмо отъ одного пріятеля, сказалъ я. — Пишетъ: прочиталъ я твое „Монрепо“, и, воля твоя, куда какъ не понравился мнѣ тонъ этой книги! Уныніе, говорить, какое-то разлито, а, говоря по совѣсти, чтѣ же такое уныніе, какъ не рабская покорность судьбѣ, осложненная рабскимъ же казаніемъ кукиша въ карманѣ? И въ газетахъ, говорить, тебя за это упрекають, и, по мнѣвию моему, правильно. Потому что, по нынѣшнему времени, больше, нежели когда-либо, требуется не уныніе, а дерзновеніе. „Молодцомъ надо быть, мой другъ, молодцомъ!“

— Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и помолодечествовалъ! подсказалъ мнѣ Плѣшивцевъ.

— Такъ-было и хотѣлъ я ему сгоряча отвѣтить; но потомъ разсудилъ, и стыдно сдѣлалось. Какъ это, думаю, съ больной головы на здоровую сваливать? Вѣдь онъ, пожалуй, отвѣтитъ:—я, другъ сердечный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, такъ сказать, съ этого началъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ, въ самую нужную минуту: не хочеть ли кто за меня подерзать?

— Жестокое, но справедливо, похвалилъ Глумовъ.— Какъ же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить походъ, или за безопаснѣйшее сочтешь и впредь въ уныніи пребывать?

— То-то и есть, что самъ не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги въ уныніи нѣтъ, да что-жь будешь дѣлать, коль скоро уныніе, одно уныніе такъ на тебя и плыветь, такъ и давить тебя?

— А коли давить, такъ совѣмъ, значить, замолчи!

— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А вторыхъ, ежели замолчать—что же изъ этого выйдетъ? однимъ молчаніемъ больше—только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо!

— Да и въ-третьихъ, откликнулся Положилъвъ:—какъ еще на молчаніе-то посмотрѣть! все говорилъ, да говорилъ, и вдругъ—молчокъ! съ какою цѣлью? почему?

— Гм... да! и это, братъ... тоже — статья въ своемъ родѣ! согласился Плѣшивцевъ.

— Ну, такъ, стало-быть, дерзай! посоветовалъ Глу-мовъ:—перекрестись и дерзай!

— Да вѣдь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь! оправдывался я.—Вопросы-то нынче какъ-то ребромъ встали... ужасно неприятные, пазойливые вопросы! А кромѣ того, и еще: около каждаго вопроса пристроились газетные чер-беры. Такъ и лаютъ-надрываются, такъ и скачутъ на цѣпи! Положимъ, что укуситъ онъ и не больно, а ну какъ онъ—объшенный!

— И даже почти навѣрное, подтвердилъ Тебенъковъ.

— Не почти, а просто навѣрное, усугубилъ Глумовъ.

— Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Съ одной сто-роны, несомнѣнно, что вопросы ребромъ встали, а съ другой стороны, какъ-будто и совсѣмъ ихъ нѣтъ. Встали ребромъ, да куда-то и пропали за предѣлы компетентно-сти. Или яснѣе сказать, есть вопросы, да мы-то не ком-петентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы здѣсь, а говорить намъ не объ чемъ. Унывать приходится.

— Ну, братъ, о подоплѣкѣ-то и теперь... возразилъ-было Тебенъковъ.

— Нѣтъ, и о подоплѣкѣ... Смотри по тому, какая по-доплека и въ какое время.

— Вы, господа, съ подоплѣкой не шутите! По нынѣш-нему—вѣдь это красный фантомъ!

— Жестоко, но... справедливо!

— Да нѣтъ, что подошлека! до подошлеки ли уж! продолжалъ я.— Возьмемъ самый несложный и, по обстоятельствамъ, даже самый естественный вопросъ... напри- мѣръ, хоть о пользѣ содержанія козла въ огородѣ... Сколь- ко въ былое время передовиковъ на этомъ вопросѣ репу- тацію себѣ сдѣлали! А нынче, попробуй-ка его со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть—анъ вдругъ изъ всѣхъ литературно- ретиранныхъ мѣстъ полемическій залпъ! Козель! что такое „козель“? Огородъ! что такое „огородъ“? съ какой стати вдругъ объ „огородѣ“ рѣчь заведена? что симъ достигается? и въ сколькихъ смыслахъ надлежитъ „онное“ понимать?

Сознаюсь, это было нѣсколько преувеличено, и Тебень- ковъ не преминулъ мнѣ это высказать; однако, Положиловъ вступился за меня и, въ подтвержденіе моей правоты, даже привелъ фактъ.

— Я одного ученаго знаю, сказалъ онъ:— тридцать лѣтъ сряду пишетъ онъ изслѣдованіе о „Бабѣ-Ягѣ“, и, на- конецъ, на дняхъ кончилъ. И что жъ! Спрашиваю я его: скоро ли, молъ, къ печатанію приступите? Помилуйте! го- ворить, развѣ, по нынѣшнему времени, можно?

— Ахъ! это... ужасно!

И мы даже съ мѣсто повскакали, простирая руки къ небу и вопія:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

— А мнѣ такъ кажется, что вы именно преувеличи- ваете, господа! рѣшила, послѣ короткой паузы, Поликсена Ивановна:—какая же это специальность—унывать! По мо- ему, такъ и теперь можно прожить и даже очень прекра- сно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда для себя подхо- дящее дѣло отыщеть.

Но какъ-то никто не откликнулся на это замѣчаніе, а Глумовъ даже явно отнесся къ нему съ пренебреженіемъ, то есть махнулъ рукой и сказалъ:

— Да, взяли таки волю наши ретирадники...

Но тутъ разыгрался у насъ „эпизодъ“. Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманіемъ Глумова, но пригорюнилась, и Положиловъ, какъ преданный супругъ, счелъ долгомъ вступить за нее.

— Однакожъ, Глумовъ, сказалъ онъ: — вѣдь жена-то у меня—дама; и ты могъ бы...

— Поликсена Ивановна! голубушка, да неужто вы... дама? изумился Глумовъ.

Это дало новое направленіе бесѣдѣ. Сначала возникъ вопросъ: что такое „дама“ и чѣмъ она отличается отъ „женщины“? А потомъ и другой: отчего Поликсенѣ Ивановнѣ, напримѣръ, неловко дѣлается, когда ее въ упоръ называютъ „дамой“, и отчего, тѣмъ не менѣе, у той же Поликсены Ивановны, въ экстренныхъ случаяхъ, огоньки въ глазахъ бѣгаютъ: не забывайте, дескать, однако, что я... дама!

— Давайте, господа, объ женскомъ вопросѣ поговоримъ! предложилъ Тебеньковъ.

Со стороны Тебенькова подобное предложеніе никого не удивило. Мы знали, что Тебеньковъ считаетъ себя спеціалистомъ по женскому вопросу, но въ то же время знали и то, что онъ любитъ обсуждать его по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“. Поликсена Ивановна не разъ говаривала ему:—вы не можете себѣ представить, какъ это скверно, Тебеньковъ!—а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, и мы не одобряли Тебеньковскіе взгляды на женскій вопросъ, но, говоря по совѣсти, немаловажная доля его вины ложилась и на насъ всѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ обычной манерѣ мужчинъ относиться къ женскому вопросу и обсуждать его существуетъ какое-то роковое легкомысліе. Я никогда не слышалъ, какъ разсуждаютъ женщины о „мужскомъ вопросѣ“ и потому не могу свидѣтельствовать, бываетъ ли тутъ рѣчь объ „ату-

рахъ“, не что касается до мужчинъ, то они, только цѣною величайшихъ усилій, могутъ воздерживаться отъ эскурсій игриваго свойства.

Мнѣ кажется, что это происходитъ отъ того, что мы ставимъ женскій вопросъ совсѣмъ не на ту почву, на которую его ставить надлежитъ, т. е. разсматриваемъ его, по преимуществу, въ культурной средѣ, той самой, которая всѣми своими помыслами и силами почти исключительно направлена къ воспитанію „атуровъ“. Тогда какъ, еслибы мы перенесли его въ среду трудолюбивыхъ поселянъ, то представленіе объ „атурахъ“ упразднилось бы само собой и женскій вопросъ предсталъ бы предъ нами въ своемъ чистомъ, безатурномъ видѣ.

Да, только тамъ можно представить себѣ „женщину“ вполне независимо отъ „атуровъ“, только тамъ половыми различіями дается ихъ естественное, не дразнящее значеніе. Въ этой средѣ, и молодость быстрѣе проходитъ, и дѣловая, рабочая пора пристигаетъ плотнѣе. Когда женщина идетъ шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она представляетъ собой необходимое дополненіе рабочаго тягла, то она является уже не утѣхой, не „украшеніемъ“ и даже не помощницей и подругой, а просто на просто равноправнымъ человѣкомъ. И ежели, за всѣмъ тѣмъ, и при такой обстановкѣ мужчина хлещетъ женщину возжами и таскаетъ за косы, то вотъ тутъ ужъ дѣйствительно выступаетъ на сцену женскій вопросъ, жгучій, потрясающій, вопіющій. И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто объ немъ и не думаетъ!

Но какъ только женскій вопросъ выходитъ изъ предѣловъ престонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превращается въ „дамскій“ и пріобрѣтаетъ атурный характеръ. Вліяніе культурныхъ вѣяній таково, что даже женщина, вышедшая изъ народа, коль скоро отвѣдаетъ пуховика, самовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ дѣломъ на-

чинаетъ нагуливать себѣ „атуры“. И груди чтобъ сахарныя были, и бедра такія, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огрѣть можно было. И, нагулявши все это, начинаетъ мнить себя „дамой“ и мечтать о „кавалерахъ“.

Я знаю, что слово „дама“ многимъ нынѣ ненавистно; но что „дамство“ пустило корни глубоко и надолго заплонило женскую ниву—это несомнѣнно. Повторяю: я все-таки имѣю въ виду исключительно культурную среду и объ ней одной говорю, потому что можно ли назвать „дамой“ существо, которое днемъ заурядъ съ мужчиной пашетъ, боронитъ и коситъ, а на сонъ грядущій получаетъ столько ударовъ возжами, сколько влезетъ? Итакъ, возьмемъ въ этой культурной средѣ одинъ изъ лучшихъ экземпляровъ, въ родѣ Поликсены Ивановны. Безспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, какъ она гордится, что за такимъ „добытчикомъ“, какъ Павелъ Ермолаичъ, она живетъ, какъ за каменной стѣной! какъ она глубоко убѣждена, что онъ доставитъ ей обезпеченіе и покровительство, и какъ смиренно-счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроивъ ему домашній комфортъ! Не очевидно ли, что она и сама считаетъ свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознаетъ, что безъ Павла Ермолаича ей — мать? Но этого мало: она называетъ мужа не иначе какъ Павломъ Ермолаичемъ (я увѣренъ, что даже одинъ на одинъ она не отступаетъ отъ этого правила), а онъ нѣтъ-нѣтъ, да и обласкаетъ ее „Поликсенчикомъ“. И когда она слышитъ это обращенное къ ней уменьшительное, то не только радуется, но и гордится этимъ: стало быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображеніяхъ ея по этому предмету непремѣнно играли роль „атуры“, но, помимо воли, сами собой (въ формѣ скромнаго инстинктивнаго охорашиванья), вѣроятно, ска-

зываются и они. Во всякомъ случаѣ, она несомнѣнно сознаетъ, что извѣстная пословица: курица не птица и т. д.— не просто пословица, но и фактъ, по поводу котораго, до поры до времени, спорить и прекословить бесполезно. А ежели она все это сознаетъ и приѣмлетъ, то должна неминуемо сознавать и принимать и то, что она... дама! И—о ужась!—что только именно это „дамство“ спасаетъ ее отъ тѣхъ практическихъ послѣдствій, которыми чревата сейчасъ упомянутая пословица...

Павель Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей подруги, и относится къ недоумѣнιάмъ ея нѣсколько иронически. По моему мнѣнію, онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ несправедливо, ибо недоумѣнιά эти отнюдь не отъ Поликсены Ивановны зависятъ. Культурная женщина съ молодыхъ лѣтъ такъ воспитывается, чтобъ быть „дамой“, то есть чтобы жеманиться и сидѣть у мужчины на колѣнахъ. Гопъ, гош! поѣхали! — скажите, гдѣ та культурная дама, которой сердце не замерло бы въ восторгѣ при этомъ восклицаніи?

Поэтому, когда Тебеньковъ предложилъ приступить къ разработкѣ женскаго вопроса, то Поликсена Ивановна рѣшительно этому воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея сторону.

— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ, сказавъ онъ:—хочется тебѣ на счетъ „лямуру“ пройтись, да и вообще слабый оный полъ подробно во всѣхъ частяхъ разсмотрѣнію подвергнуть. И знаю также, что по нынѣшнему времени, это занятіе самое благопотребное, по поводу котораго не потребуетъ даже заглядывать въ гостиную, не „шмыгаетъ“ ли тамъ кто. Но подумай, однакожь, не презорно ли будетъ, ежели мы, подобно ретирадникамъ, погрязнемъ въ однѣхъ игривостяхъ, а о прочихъ сторонахъ вопроса, уныльничьхъ обстоятельствахъ ради, умолчимъ? Не правда ли, господа?

Мы послѣшили согласиться, а Плѣшивцевъ, въ качествѣ всегдашняго антагониста Тебенькова, даже присовокупилъ:

— Говорилъ я тебѣ, что ты, Тебеньковъ, паскудникъ и засушина. Вотъ и попался. Теперь, ты соборнѣ въ этомъ званіи навсегда утверждень.

— Нѣтъ, не будемъ черезъ чуръ строги къ нашему общему другу, продолжалъ Положиловъ: — я самъ знаю, что Тебеньковъ немножко паскудникъ; но это оттого, что его черемѣрно ужь угнетаетъ чувство изящнаго... А сверхъ того, у него откровенный характеръ... Вотъ это и выдаетъ его. Но вѣдь и всѣ мы, воспитанные въ преданіяхъ эстетики, относимся къ женщинѣ по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“ и „игривостей“. Только мы не столь часто и не столь открыто говоримъ объ этомъ, и, разумѣется, хорошо дѣлаемъ. Ибо какъ ни привлекательны атуры, но умнаго въ разговорахъ объ нихъ немного. Несмотря на эти разговоры, женскій вопросъ все-таки существуетъ, и ежели онъ представляется безвременнымъ и мелкимъ, то, во-первыхъ, потому, что сами женщины покуда еще не умѣютъ разобраться въ немъ, а во-вторыхъ, и главныхъ образомъ потому, что на ближайшей очереди стоитъ великій мужской вопросъ. Но во всякомъ случаѣ, подражать ретирадникамъ не подобаетъ. Поэтому, я предпочелъ бы женскій вопросъ обойти; но ежели бы вы желали бесѣдовать на эту тѣму съ должной серьезностью...

Положиловъ не досказавъ, и тихонько-тихонько на цыпочкахъ направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ сдѣлалъ это, новидимому, совершенно инстинктивно, но вышло такъ наивно, что всѣ мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

— Оставимъ! оставимъ! произнесъ Глумовъ, какъ только улеглись первые порывы веселости: — вѣдь это все-таки „вопросъ“, а вопросы теперь не ко времени. Все стоитъ



твердо, вѣрно, несомнѣнно—такъ гласить мудрость вѣка сего—зачѣмъ же прать противъ рѣшеній ея? Да и какъ польза вдаваться въ изслѣдованія, коль скоро тебя каждоми-нутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, не шмыгнуль ли тамъ кто? По моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А къ тому же, и Поликсена Ивановна...

— Что-жь я! вступилась за себя Поликсена Ивановна:— говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, такъ, конечно... не вышло бы чего...

И она, въ свою очередь (и тоже, повидимому, инстинктивно), встала и на циночкахъ заглянула къ гостиную.

Мы поглядѣли-поглядѣли, но на сей разъ не разсмѣялись, а помолчавъ немного, единими устами возопили:

— Господи! да неужто-жь это не кошмаръ!

Но здѣсь я долженъ сдѣлать тяжкое для самолюбія признаніе: главную причину Положиловскаго и нашего смущенія составлялъ лакей Филиппъ. Это было какое-то сказочное существо, о которомъ носились самыя загадочныя слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ при какой-то мелконькой газеткѣ состоитъ. Явится будто бы раннимъ утромъ, вычистивъ господамъ сапоги, выложить дневной записки, а тамъ ужъ и начнутъ „публицисты“ ссыскивать. Сколько разъ мы убѣждали Положилова расчитать Филиппа, но всегда встрѣчали какое-то необъяснимое упорство.

— Прогонишь этого—другого репортера наймешь! отвѣчалъ онъ:—а этотъ, по крайней мирѣ, сапоги ловко снимаетъ.

И при этомъ, въ видахъ самоободренія, прибавлялъ:

— Впрочемъ, съ меня, братъ, взятки гладки! Хоть до завтра слушай—не боюсь.

Такимъ образомъ, и остается Филиппъ властителемъ нашихъ думъ и регуляторомъ нашей благонамѣренности въ глазахъ „Красы Демидрона“. И я даже подозреваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этимъ: все-таки есть

въ домъ узда, которая сдерживаетъ этихъ сорванцовъ-подплечниковъ.

Между тѣмъ, изъ столовой мы перешли въ гостиную, и покуда Филиппъ убиралъ чай, разумѣется, молчали. Но когда стукъ стакановъ и ложекъ, наконецъ, утихъ, то „каверза“ снова возымѣла дѣйствіе.

— Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали, обратился Глумовъ къ Поликсенѣ Ивановнѣ:—что и въ нынѣшнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невѣжа, въ ту пору даже и не выслушалъ васъ. Такъ ужь простите въ мое невѣжество, научите, какъ это, по вашему мнѣнію, „прекрасно прожить можно“?

— Очень просто: рассчитать слѣя нужно.

— То есть, какъ это... рассчитать?

— Да примѣняясь къ обстоятельствамъ. О большихъ размѣрахъ позабыть, лишнія претензіи тоже въ сторону отложить, да вотъ въ эдакомъ родѣ и подыскать себѣ дѣло.

— Или, какъ вотъ онъ выражается—Глумовъ указалъ на меня—на маленькомъ мѣстѣ небольшую пользу приносить?

— Такъ что-жь... ахъ, господѣ! Сами же вы говорите, что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же вы „забудете“, ежели у васъ не будетъ дѣла, которое васъ отъ думы отведетъ? Вѣдь безъ дѣла-то вы только больше да больше будете себя берeditь!

— Гм... такъ по вашему, значить. дѣло... и при семъ не-большое... Ежели, напрімѣръ, моціономъ заняться... одоб-рите?

Сказавъ это, Глумовъ чуть было опять не махнулъ рукой, но воздержался, и въ заключеніе воскликнулъ:

— Голубушка вы наша!

Однакожь, Поликсена Ивановна, по неизрѣченному своему милосердію, на этотъ разъ не обидѣлась.

— Ну, какъ хотите! сказала она:—можетъ быть, я и пустое предлагаю, но, по моему, вѣдь и въ томъ, какъ вы проводите время, ничего особенно выспреняго пѣтъ.

— А какъ мы проводимъ время?

— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора послѣдовательно до конца не можетъ довести. Посмотришь на васъ—точно вы и ни вѣсть какіе преступники!

— Боимся, значить?

— А что-жь... полагаю, что не безъ того...

— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всѣхъ наводите! Не вы ли въ сосѣдную комнату каждую минуту заглядываете? Не вы ли мужа на французскомъ діалектѣ предостерегаете: Pavel Ermolaitch... Philippe ici!

— Что-жь я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермоланчъ, дама... А вѣдь съ дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на Глумовскія оговорки, я долженъ сознаться, что Поликсена Ивановна ежели и не прямо вложила персты въ язвы, то, во всякомъ случаѣ, довольно близко нащупала больное мѣсто. Мнѣ и самому неоднократно приходило въ голову: боимся мы, или не боимся? — и всякій разъ я не то, чтобы уклонялся отъ отвѣта, но, по совѣсти, не могъ отвѣчать ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Очевидно, что въ душевномъ недомогательствѣ, которое угнетало насъ, сама по себѣ заключалась значительная доля неясности, мѣшавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ тѣхъ болей, при которыхъ, какъ говорится, не знаешь гдѣ мѣста найти, которыя зудить и сверлять весь организмъ, не давая свободной минуты, чтобъ оглядѣться и обдумать выходъ. Неприятнѣе этой боли представить себѣ ничего нельзя, тѣмъ больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладѣвъ человѣкомъ, дѣлается какъ бы нормальнымъ удѣ-

ломъ его на все время, пока существуютъ причины, обусловившія его.

Во всякомъ случаѣ, мнѣ очень интересно было узнать, чтò отвѣтитъ Глумовъ на замѣчаніе Поликсены Ивановны.

— Такъ, значить, боимся? повторялъ онъ свой прежній вопросъ.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но къ сожалѣнію, объясненія эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ и тѣ, которыя я ужъ давалъ себѣ, и о которыхъ только что упомянулъ выше. И тутъ оказывалось, что боязни собственно нѣтъ, а есть будто бы лишь горькое сознаніе безсилія, которое на все существованіе, на всю дѣятельность кладеть унылый, почти постыдный отпечатокъ. Глумовъ съ особенною настойчивостью налегалъ на этомъ различіи, и для того, чтобы установить его въ умѣ слушателей, на одно объясненіе нагромождалъ другое, третье и т. д., и вслѣдствіе этого впадалъ въ многословіе, въ иерифразу. Но разница была, повидимому, настолько деликатнаго свойства, что, не смотря на всѣ усилія, различительные признаки вырисовывались слабо, и со стороны очень не трудно было ихъ проглядѣть. Вообще выходило, что дѣло идетъ только о словахъ, и что Глумову хотѣлось собственно одного: во что бы ни стало устранить паскудное слово „боязнь“, которое Поликсена Ивановна, пользуясь своей женской безответственностью, такъ простодушно пустила въ обращеніе. Такъ что когда Тебенъковъ, въ шутовомъ русскомъ тонѣ, желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышку и сказалъ:

— Ну, что ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь — все это такъ! но вѣдь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грѣхъ пополамъ!

То сдѣлалось какъ-то тяжело и непріятно, а Глумовъ,

не возражая, досадливо отвелъ отъ себя путника рукой и проворчалъ:

— Оставь!

Затѣмъ, всѣ смолкли и, разумѣется, черезъ минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

— Господи! да неужто-жь это не кошмаръ!

— А впрочемъ, господа, первый прервалъ молчаніе Положилъ:—я и съ своей стороны не раздѣляю щепетильности Глумова. Вѣдь рѣчь идетъ совсѣмъ не о герояхъ, а о массѣ ординарныхъ, но добропорядочныхъ и мягкосердечныхъ людей, которые любятъ добро, но не чувствуютъ призванія „класть свои головы“. И вотъ относительно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ представилось обиднымъ или предосудительнымъ сознаться въ гнетущемъ ихъ безпокойствѣ. По моему мнѣнію, боязнь играетъ на столько рѣшительную роль въ существованіи современнаго человѣка, что самое уныніе едва ли могло бы такъ прочно вѣдриться въ обществѣ, еслибъ его постоянно не питало ожиданіе чего-то непредвидѣннаго. А коль скоро страхъ существуетъ, то отрицаться отъ него значить только добровольно обрекать себя на сугубое малодушіе, значить отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явленія, примириться съ своею совѣстью. Вѣдь ежели даже этой возможности не будетъ, то какъ же существовать? Поэтому-то, я совершенно искренно думаю, что ежели у человѣка—повторяю, не у героя, а у ординарнаго, но добропорядочнаго человѣка—есть безспорныя и осязательныя причины ощущать страхъ, то онъ имѣетъ полное право безъ околичностей сказать: да, и боюсь: И совѣсть самая щепетильная не найдетъ основательнаго повода укорить его за это. Не такъ ли, господа?

— „Право“!.. отлично! превосходно! „Право“! проворчалъ Глумовъ.

— А по моему, право, какъ право, не хуже и не лучше прочихъ таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынѣшнему времени, и этимъ правомъ въ полномъ его объемѣ, едва-ли всякому удастся воспользоваться. „Правомъ бояться“... да! Бояться—вѣдь это значитъ „кукиситься“, а кукиситься—значитъ, показывать кукишъ въ карманѣ. Все это виды и формы томнаго русскаго фрондерства, а что гласять объ этомъ въ „Вѣстникѣ Общественныхъ Язвъ“? Да-съ, современный общественный каммертонъ совсѣмъ не къ фрондерству наклоненъ. Каммертонъ этотъ гласить такъ: всякій да взираетъ бодро. Вотъ это право (право взирать весело)—безспорное, и всякій можетъ пользоваться имъ на всей волѣ. И, что всего несомнѣннѣе, этимъ правомъ наградила насъ не въ такой мѣрѣ жизнь, какъ литература.

Произнося послѣднее слово, Положиловъ на минуту остановился, какъ бы выжидая, какой эффектъ оно произведетъ на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорѣе, напротивъ того, можно было предположить, что давно ужъ это слово у всѣхъ на языкѣ, и рано или поздно неминуемо придется его произнести.

— Если до известной степени можно согласиться съ Глумовымъ, продолжать Положиловъ:—что съ общей точки зрѣнія страхъ есть чувство некрасивое, и что сознаваться въ немъ не особенно лестно, то до современной русской литературы это ужъ ни въ какомъ случаѣ относиться не можетъ. Ея нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите однѣ фирмы: „Бодрствующая Упредительница“, „Несыпающій Шалыганъ“, „Изъяснитель Язвъ“... развѣ не страшно? Разумѣется, прежде всѣхъ должны бояться свои же братія, неостервенившіеся литераторы. Имъ, должно быть, особенно трудно, ибо въ литературѣ обойтись безъ человѣческихъ чувствъ, безъ человѣческихъ мыслей, безъ обобщеній, безъ идеаловъ, съ одною канцелярскою насущ-

ностью... чтожь это за литература будетъ! Но не освобождаются отъ обязанности трепетать и всѣ вообще партикулярные люди, которые почему-либо не съумѣли уподобить себя звѣрямъ. Къ числу послѣднихъ я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я *не вполне* боюсь, но признаюсь, когда утромъ начинаю, по привычкѣ, прочитывать печатныя строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предають суду! Ни талантъ, ни извѣстность, ни годы тщательнѣйшаго самонаблюдения, ничто не ограждаетъ отъ внушеній самаго ехиднаго свойства! И отъ кого исходятъ эти внушенія?

— И отъ кого исходятъ эти внушенія?! словно эхо повторили мы всѣ.

Но тутъ со мной случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, въ ушахъ моихъ вдругъ какъ-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите  
Страданью сердца моего...

Разумѣется, я ни съ кѣмъ не подѣлился этой пилюлей; однако-жь, Положиловъ, повидимому, угадалъ, что во мнѣ происходитъ нѣчто неладное.

— Нѣтъ, ты не шути! обратился онъ ко мнѣ:—а обрати вниманіе! Столько нынче гаду въ вашу литературу напоззло, столько напоззло, что даже вчужь страшно становится! Кружатся, хохочуть, ликують, брызжутъ слюнями... Иной всю жизнь въ ретирадѣ сидѣлъ, заплѣсневѣлъ, отсырѣлъ, думалъ: до гробовой доски мнѣ въ семь мѣстѣ на стѣнахъ писать суждено—и вдругъ почувствовалъ, что моментъ его наступилъ! Вы представьте себѣ эту картину! Выходить оттуда, весь пахучій, и голосомъ, напоминающимъ мѣстное урчаніе, воніеть: а позвольте васъ, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?.. Каково вопросы-то эти слушать?

— А развѣ нельзя ему отвѣтить: угадай! какъ-то неожиданно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.

Советъ этотъ былъ ужасно простъ, до того простъ, что Положилловъ на нѣкоторое время даже какъ бы оторопѣлъ.

— Ты, Поликсенчикъ, всегда... сказалъ онъ съ отъѣнкомъ нетерпѣнія, но вслѣдъ затѣмъ спохватился и присовокупилъ:—а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ... Онъ—съ допросемъ, а ему въ отвѣтъ... угадай?! Вѣдь это въ своемъ родѣ...

— Нельзя! рѣзко прервалъ Глумовъ, который, повидимому, успѣлъ уже убѣдиться (а кто же знаетъ, можетъ быть, и прежде онъ, только упражненія ради, противное утверждалъ), что „бояться“ не стыдно.

— Почему?

— Чудакъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что засиліе гадъ взялъ—и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существеннымъ-то пунктамъ гады рѣшительныхъ побѣдъ не одерживаютъ. Вѣдь ежели ихъ послушать, то все, что въ теченіи послѣднихъ лѣтъ приобрѣтено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отмѣнить, судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крѣпостное право возродить!.. Ну, этого, однакожь, имъ не дожидаться!

— Вотъ видишь! стало быть, есть же, и противовѣсь!

— По такимъ-то пунктамъ... еще бы! Ну, а подробности тамъ разныя, напримѣръ: ты, я, мы, вы, они—это ужъ въ счетъ неидетъ! этого нельзя и не уступить. Нельзя-съ. Потому, засиліе гады взяли! подошлеку угадали! Ахъ, много еще кровожадности въ этой подошлекѣ таится, куда какъ много! Вотъ они ее и эксплуатируютъ!

— А я такъ думаю, возразилъ я:—что нестолько кровожадность играетъ тутъ роль, сколько жалкая и скудная страсть къ начертыванію паскудныхъ словесъ на



стѣнахъ нежилыхъ строеній, на заборахъ, скамьяхъ и т. д. Вотъ она, настоящая-то подоплека, на чемъ стоитъ.

— Есть и это. Но во всякомъ случаѣ, гадъ знаетъ, что ему нынче масляница. Попробуй-ка ему сказать: угадай!—онъ огорчится и сейчасъ тебѣ въ отвѣтъ: измѣна! А вслѣдъ за нимъ и подоплека завопитъ: ха, ха, измѣна!

— Ахъ, мерзость какая!

— И вѣдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжетъ! знаетъ, что лжетъ, и все-таки лжетъ!

Говоря это, Глумовъ простиралъ руки и сверкалъ глазами. Въ первый разъ я въ немъ эту восторженность видѣлъ. Обыкновенно онъ относился ко всѣмъ этимъ „измѣнамъ“ скорѣе иронически, и вотъ теперь... Это было такъ странно, что на этотъ разъ я уже не выдержалъ и явно зацѣлъ:

Люди добрые, внимлите  
Страданью сердца моего...

И всѣ хоромъ подхватили:

Онъ меня разлюбилъ!  
Онъ ее полюбилъ!

— „Ее“, т. е. розничную продажу, во имя которой всѣ современные литературныя злодѣянія совершаются! пошутить Тебенъковъ.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ любовью оглянула насъ и, вздохнувъ, присовокупила:

— Ахъ, бѣдненькіе вы мои! беззащитненькіе!

Однимъ словомъ, благодаря моей диверсіи, чуть-чуть не водворилось въ нашемъ кружкѣ общее благодушіе, какъ вдругъ нелегкая дернула Плѣшивцева сказать:

— Ну, вотъ, теперь все отлично. А то я слушалъ-слушалъ и, признаться, все-то мнѣ думалось: а вѣдь это они передъ Филиппомъ хотятъ себя съ хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппѣ и разомъ всёхъ расколодило. Къ тому же, въ эту самую минуту въ столовой упалъ со стола стаканъ и съ шумомъ разбился. Подъ вліяніемъ совпаденія этихъ нечаянностей, и Положиловъ и Поликсена Ивановна, оба одновременно, на ципочкахъ устремились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ кутерьмы былъ котъ Васька, но благодущіе къ намъ уже не возвратилось.

— Прежде, насчетъ гаду было лучше! возобновилъ разговоръ Тебеньковъ.

— Вотъ какъ! удивился Плѣшивцевъ.

— Да такъ. И прежде гадъ допускался, но строже его держали. Жить—живи, но изъ указанныхъ природой помѣщеній не выходи.

— Пожалуй, что это и такъ, согласился Положиловъ.— А главное, что было дорого: поученій дѣлать не могъ! Никто не могъ дѣлать поученія, а въ томъ числѣ не могъ и гадъ!

— А нынче, гады подоплёку собой изображать претендуютъ—оттого и не сладишь съ ними! присовокупилъ Глумовъ:—выйдетъ онъ изъ своего мѣста и начнетъ тебя обыскивать. Тамъ рванетъ, въ другомъ мѣстѣ куснетъ... ахъ! Волкъ—тотъ прямо за горло рѣжетъ, а гадъ—во всё мѣста расползется... Можете вообразить себѣ чувство человѣка, который, по обстоятельствамъ, вынужденъ вступать съ нимъ въ разговоръ!

— Господи! да неужто жъ это не кошмаръ!

.....  
Однакожь, оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ сообщилъ:

— Былъ я давеча у одного товарища по школѣ: сидитъ и всёмъ естествомъ радуется. Слава Богу, говорить, и у пасъ публицистъ нашелся!—Хорошъ? спрашиваю.— Да такой, говорить, что ежели ему усы разрѣшить, такъ

онъ всю вашу либеральную суматоху на бобахъ разведеть! И представь себѣ, гдѣ нашли—въ уединенномъ мѣстѣ! Сидитъ, улыбается и на стѣнахъ пишетъ!

— Любопытно, какіе онъ, этотъ новоявленный публицистъ, вопросы разрѣшать будетъ?

— Помилуй! Вопросъ первый: позволительно ли мыслить? Отвѣтъ: нѣтъ, не позволительно. Вопросъ второй: предосудительно ли человѣческія чувства выражать? Отвѣтъ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

— Да вѣдь надо же будетъ и дальше говорить!

— А дальше онъ будетъ распивочнымъ слогомъ рассказывать анекдоты о стриженныхъ дѣвкахъ, будетъ на стѣнахъ излюбленныя слова писать, акростики добраго помѣщичьяго времени, въ родѣ „хвалы достойныя дѣвицы“, вспомнить... Да и мало ли подходящаго матерьяла найдется!

— Знаешь ли что, предложилъ мнѣ Тебенковъ:—я бы совѣтовалъ тебѣ, въ отдѣлѣ беллетристики, всѣ водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этакъ въ мѣсяць по одному. Это помогло бы тебѣ время провести, а читателя-то какъ освѣжило бы!

— А вѣдь это на дѣло похоже! поддержалъ Положиль:—что вы тамъ „сквозь невидимыя міру слезы“ ехидничаете! гряньте-ка прямо, на чистоту... Господа! кто изъ васъ помнитъ: *Задѣть мою амбицію...* за мной!

И всѣ мы хоромъ подхватили:

Задѣть мою амбицію

Я не позволю вамъ,

Я жалобу въ полицію

На васъ, сударь, подамъ!

— Господи! да неужто-жь это не кошмаръ!

Наступилъ довольно длинный періодъ молчанія. Въ столовую съ шумомъ ворвался Филиппъ и началъ покрывать

ужинъ; изъ кухни доносился острый запахъ солонины и пріятно щекотала обоняніе. Это значительно всёхъ приободрило.

— А мнѣ что пришло на мысль, господа! предложилъ Положиловъ:—давно мы не пѣвали „Gaudeamus“. Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянемъ нашу молодость!

Взялись за руки и съ увлеченіемъ грянули первую строфу всёмъ дорогого канта. Но когда дошла очередь до „Vivat academia“, то усумнились. Какаа академія? Что сіе означаетъ? въ какомъ смыслѣ „онное“ понимать надлежитъ? и что симъ достигается?

— Не забудьте, господа, что Филиппъ по латыни не знаетъ, напомнилъ Положиловъ:—и слѣдовательно можетъ истолковать нашу пѣсню въ самомъ превратномъ смыслѣ. Кто, напримѣръ, поручится, что онъ не скажетъ себѣ: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастью, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всёхъ ободрило. Но и тутъ Положиловъ отчасти отравилъ общее удовольствіе, предупредивъ насъ шепоткомъ:

— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскурсій въ области вымысловъ... ни-ни! Принимая пицу, мудрый о пицѣ же и бесѣдуетъ—такъ-то!

На что мы, разумѣется, отвѣтили:

— Конечно! конечно! неужто-жь мы этого-то не знаемъ!

За ужиномъ все обошлось благополучно. Хвалили солопину, а въ особенности не находили словъ для выраженія восторговъ по поводу громаднаго индюка, присланнаго Положиловымъ изъ деревни.

— Индюка совсѣмъ не такъ легко довести до такой степени манности, пѣжности и благонадежности, какъ это кажется съ перваго взгляда, объяснялъ при этомъ Павелъ Ермолаичъ:—нѣтъ, тутъ не мало-таки труда нужно положить! Не въ томъ штука, чтобы до отвала накормить го-

лодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отпа-  
щенія пресыщенное, цѣлесообразными мѣрами побудить су-  
губо себя утучить, ad maiorem hominis gloriam! Это цѣ-  
лая система, которую, впрочемъ, я не буду здѣсь излагать,  
дабы Поликсена Ивановна не вывела изъ моего изложенія  
какихъ-либо неблагопріятныхъ намековъ и примѣненій. Но  
скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ основаніи  
изданныхъ на сей предметъ руководствъ, дѣлается ни къ  
чему иному негоднымъ, кромѣ какъ къ подачѣ на столъ  
въ видѣ жаркова.

Поликсена Ивановна слушала эти объясненія, и поти-  
хоньку радовалась. Мы тоже не безъ пользы внимали По-  
ложилову, потому что объясненія его, такъ сказать, осмы-  
сливали удовольствие, доставляемое намъ индюкомъ. Что  
касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства улыбался,  
какъ бы говоря: а вѣдь это они передо мной себя заре-  
комендовываютъ!

Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поликсена  
Ивановна не выдержала и, обращаясь къ Глумову, ска-  
зала:

— Вотъ вы давеча не повѣрили, когда я говорила, что  
и по настоящему времени прожить прекрасно можно—ахъ  
вотъ вамъ и доказательство на лицо!

Она обвела всѣхъ насъ счастливымъ взоромъ и прого-  
ворила:

— Прекрасно, тихо, благородно!

Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ тен-  
лимымъ участіемъ къ намъ, измученнымъ невозможностью до-  
вести какой-либо разговоръ до конца, что Глумовъ крѣпко  
пожалъ ея руку и сказалъ:

— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо,  
благородно! Лучше нельзя опредѣлить.

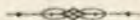
— И повѣрьте мнѣ, продолжала Поликсена Ивановна:—  
что вся эта суматоха, которая такъ мучительно на васъ

дѣйствуетъ, чувствуется только въ тѣхъ сферахъ, которыя черезъ чуръ ужь близко къ ней стоятъ. А тамъ въ глубинахъ, даже и не подозрѣваютъ объ ея существованіи Павель Ермолаичъ не дальше, какъ вчера, получилъ изъ деревни письмо...

— Да, есть изъ деревни письмо, есть! отозвался Положиловъ:—и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И, не дожидаясь согласія нашего, онъ прочиталъ:

„А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по случаю лютыхъ онныхъ морозовъ и безснѣжія опасаемся, какъ бы озимый хлѣбъ въ поляхъ не вымерзъ, да травы на низкихъ мѣстахъ весной не вымокли, да деревья и кусты въ садахъ не погибли. При чемъ, однакожь, остаемся не безъ упованія, что ежели весна будетъ дружная и Богъ пошлетъ дожличковъ“...



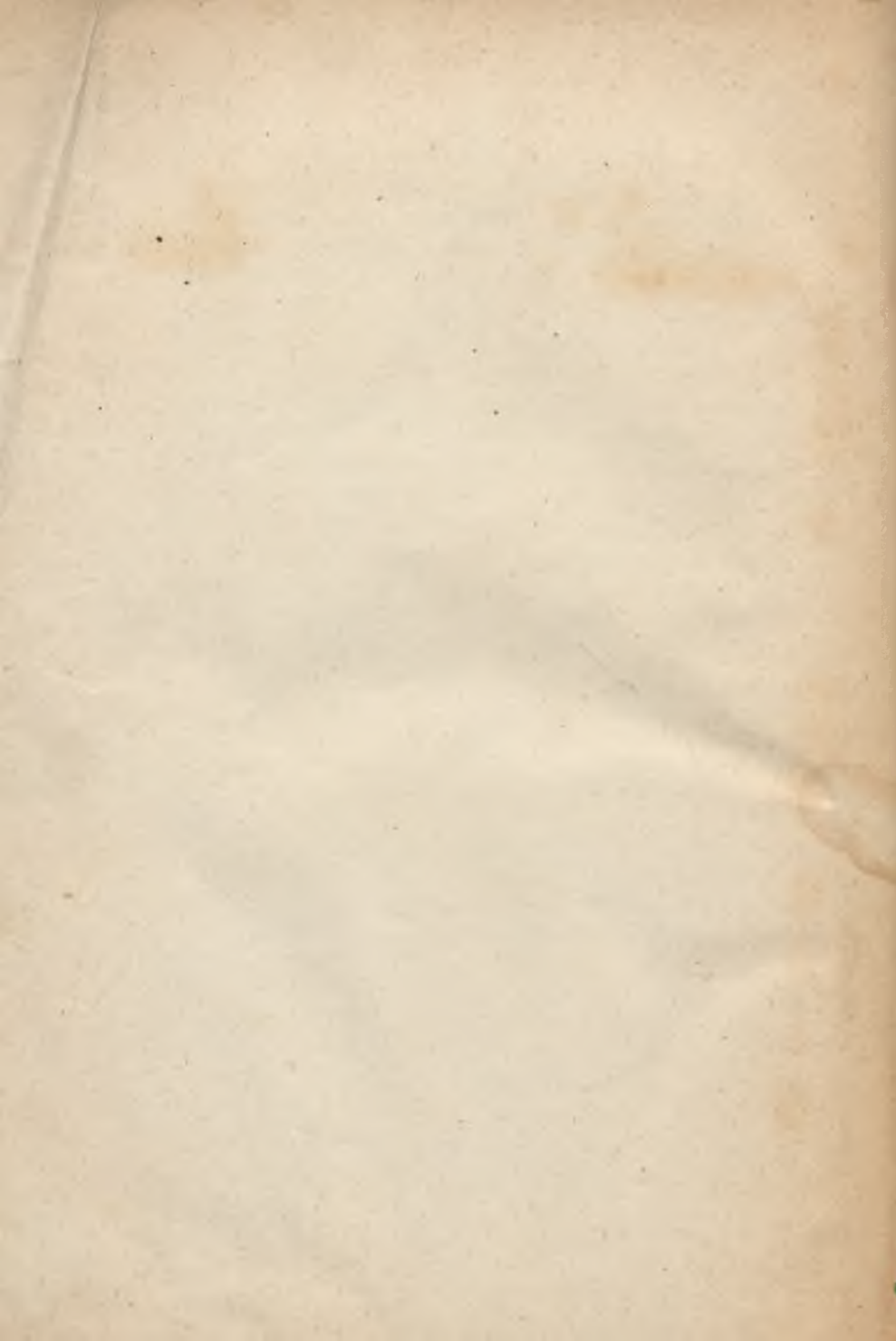
## СОДЕРЖАНІЕ.

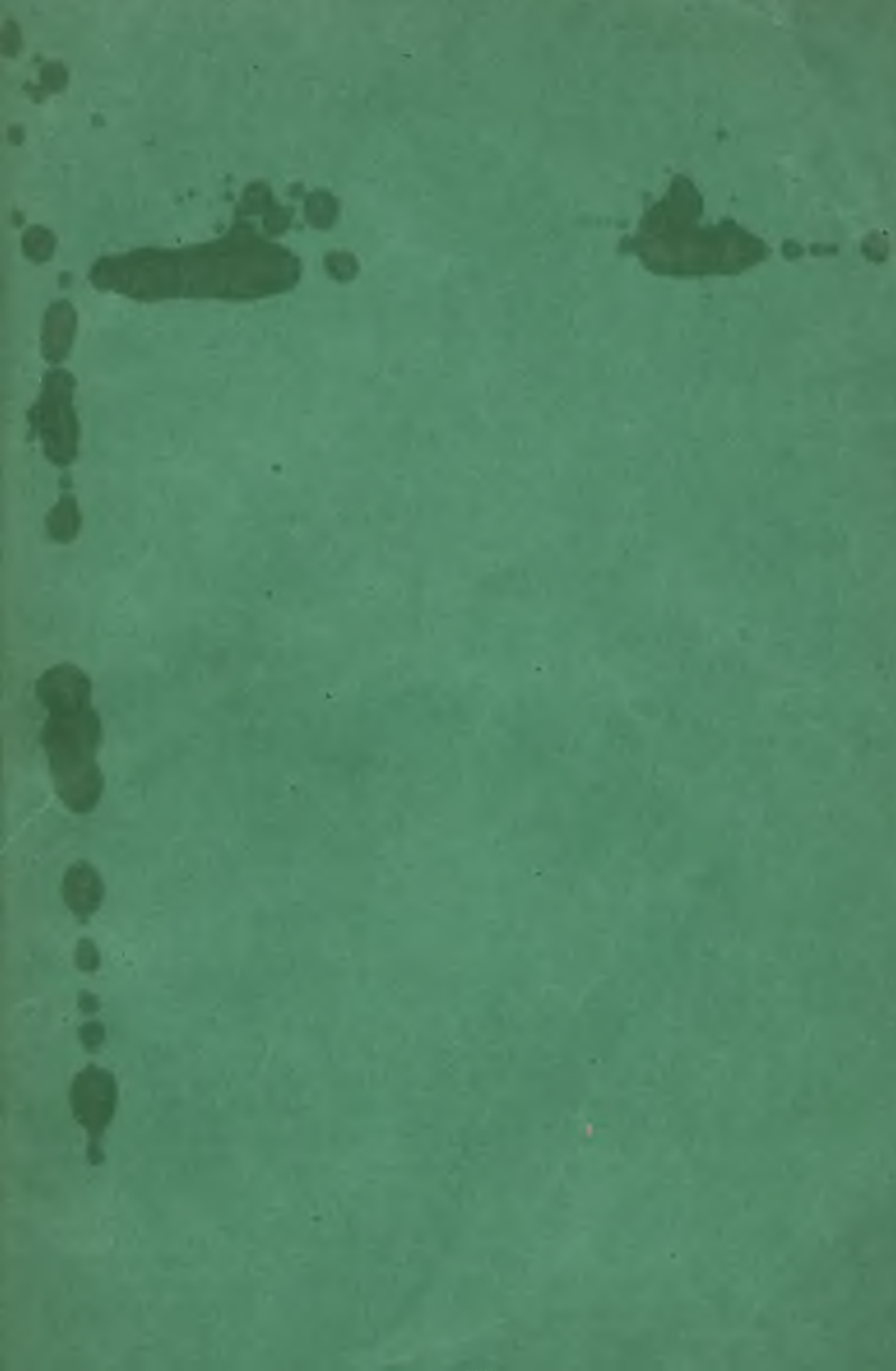
|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Первое января . . . . .   | 1   |
| Первое февраля . . . . .  | 12  |
| Первое марта . . . . .    | 28  |
| Первое апрѣля . . . . .   | 48  |
| Первое мая . . . . .      | 67  |
| Первое іюня . . . . .     | 91  |
| Первое іюля . . . . .     | 110 |
| Первое августа . . . . .  | 131 |
| Первое сентября . . . . . | 151 |
| Первое октября . . . . .  | 175 |
| Первое ноября . . . . .   | 189 |
| Первое декабря . . . . .  | 201 |







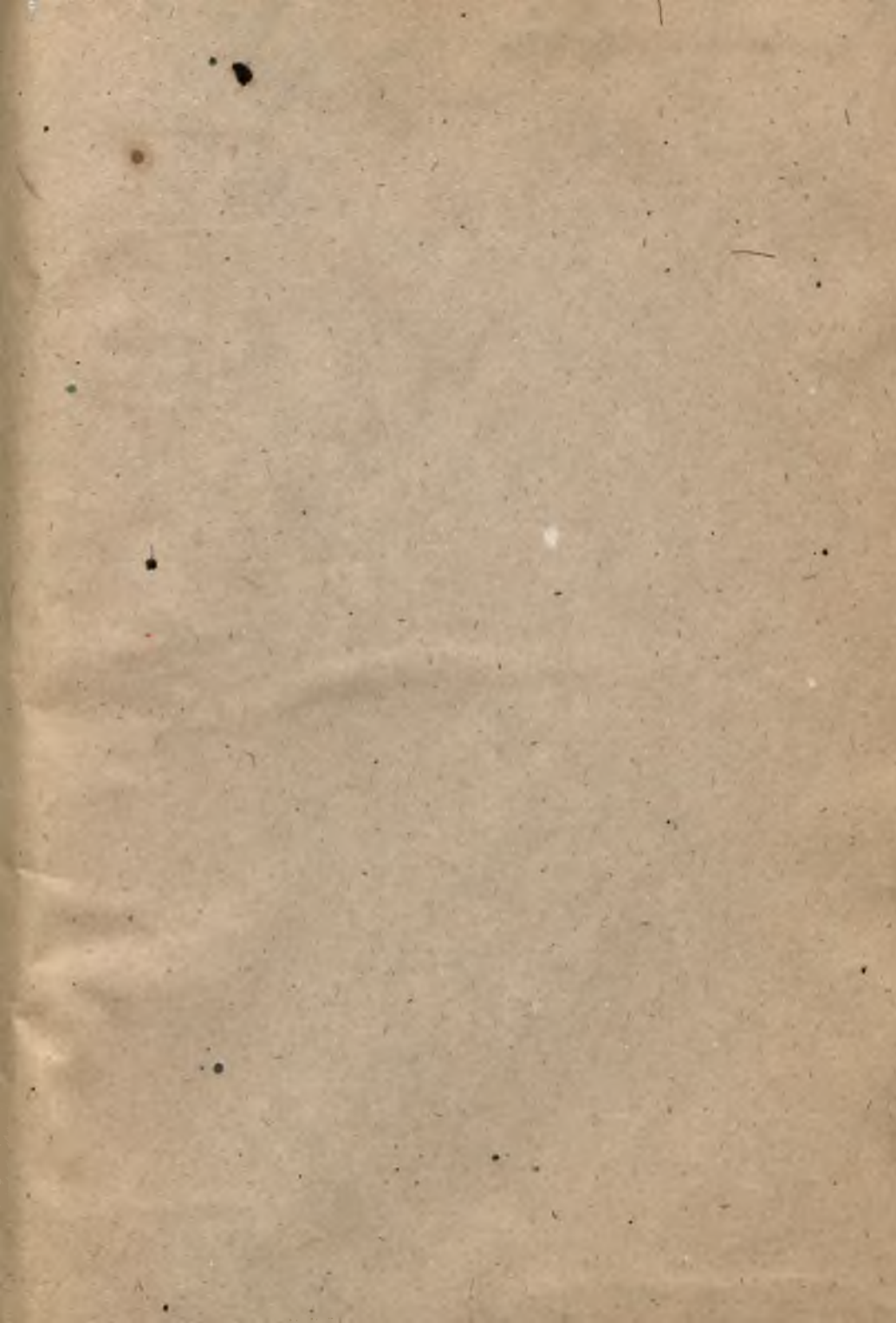


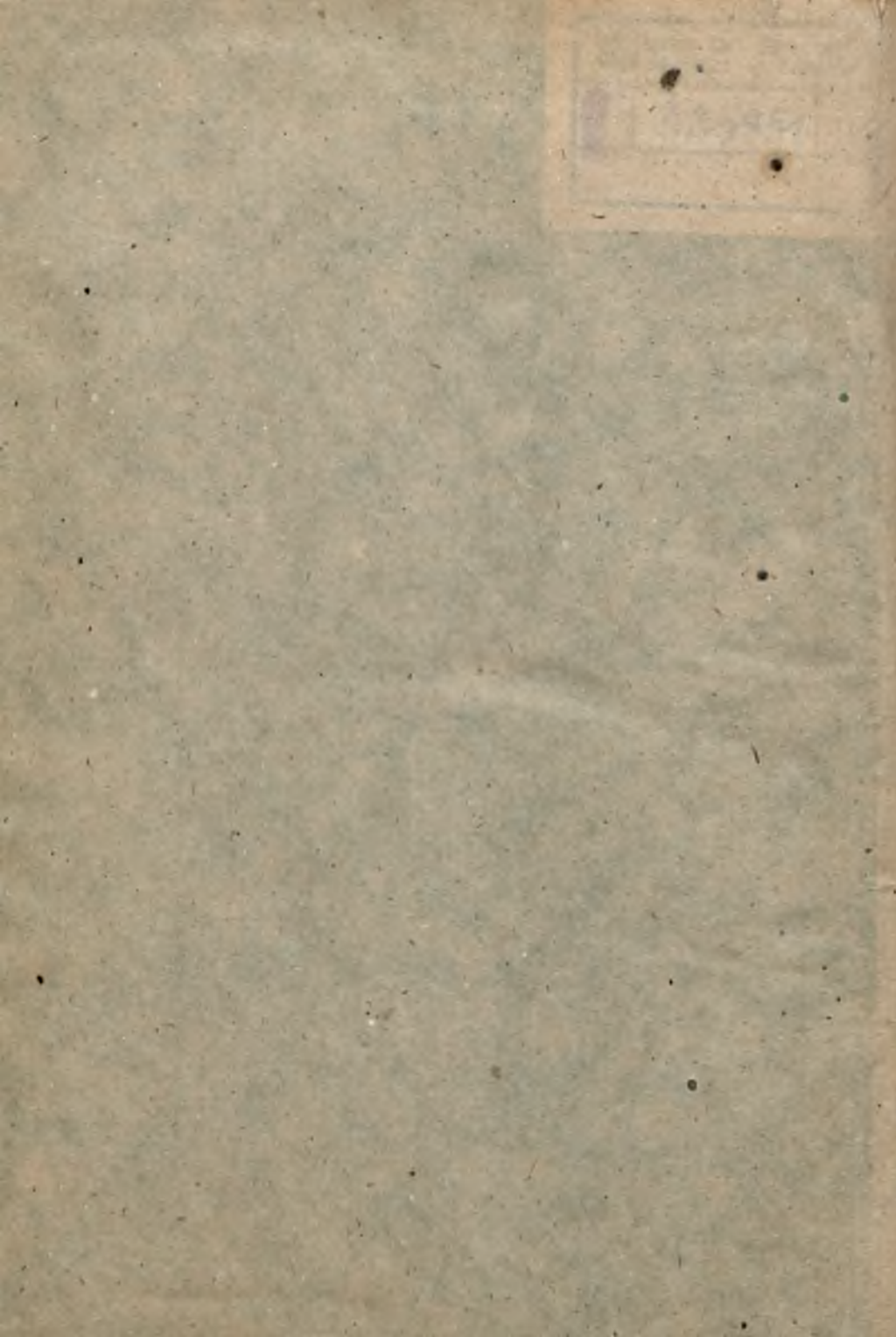


Biblioteka im. Hieronima  
Łopacińskiego w Lublinie



323951







Biblioteka im Hieronima  
Łopacińskiego w Lublinie

323951

